

Н О С И Т Е Л И

книга первая

ВИНА ВЕСИТ ДЕВЯТЬ

Вина за чужую смерть весит девять



11:15

О К С А Н А В О Л К О В А

Оксана Волкова

Вина весит девять

«Автор»

2026

Волкова О.

Вина весит девять / О. Волкова — «Автор», 2026

Боль можно вынуть. Как зуб. Как камень. Как чужую жизнь. Восемь лет Лео извлекает чужую боль. Он лучший носитель в городе и давно перестал спрашивать, что остаётся в человеке после процедуры. Пока одна пациентка не вырывает свою боль обратно — и не умирает у него на руках. Перед смертью она успевает сказать: «Боль — единственное доказательство того, что я любила». А следом приходит бумага, из которой следует, что восемь лет назад такую же процедуру провели и над ним. Аккуратно. По спецификации. С указанием срока годности. Память возвращается обрывками: озеро, мостки, четыре секунды, изменившие всё, и часы, которые идут назад. У него не притупились чувства. Их вынули. И теперь Лео предстоит узнать, кто это сделал — и сколько от него самого осталось.

© Волкова О., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Часть первая	5
Глава 1. Первое правило носителя боли	5
Глава 2. Инспектор	13
Глава 3. Уборщица	21
Глава 4. Пираньи	31
Глава 5. Выбор	40
Глава 6. Брат	47
Глава 7. Гость	55
Глава 8. Ключ	63
Глава 9. Озеро	71
Глава 10. Должник	78
Конец ознакомительного фрагмента.	79

Оксана Волкова

Вина весит девять

Часть первая

Глава 1. Первое правило носителя боли

Я никогда не смотрю клиентам в глаза.

Руки — другое дело. Лицо человек держит под контролем лет с двенадцати, а руки живут отдельно. Они теребят пуговицу, прячутся в рукава, сжимаются в кулак под столом, пока лицо говорит, что всё в порядке.

По ногтям видно, спит ли человек. По тому, как он берёт ручку и подписывает согласие, видно, понимает ли, на что соглашается. Те, кто понимает, ставят подпись медленно. Те, кто не понимает, расписываются размашисто, как в банке.

За восемь лет я не запомнил ни одного лица. Руки помню все.

Так проще. Лица начинают возвращаться, и однажды ты перестаёшь работать.

Первое правило носителя боли: не смотреть в глаза.

Сегодня я его нарушил.

* * *

Дом был из тех, где лифт работает через раз, а на площадке между этажами кто-то много лет назад поставил цветок в ведре и с тех пор его не поливал.

Я поднялся пешком. Четвёртый этаж, квартира сорок семь.

В телефоне висел заказ: адрес, время, категория, вес по предварительной оценке. Ни имени, ни возраста, ни диагноза. Имен нам не дают. Считается, что так меньше выгорание.

На самом деле имена не дают по другой причине. Человек, у которого есть имя, потом снится.

По лестнице спускалась женщина с пакетами. Она посмотрела на мой кейс, потом на меня и прижалась к перилам, пропуская. Так делают все. Кейс серый, без надписей, но его узнают. В нашем городе носителя видно издалека — по кейсу и по тому, что человек с кейсом никогда не торопится.

Мне некуда торопиться. За смену три адреса, между ними по два часа. Работа не тяжёлая. Тяжёлое достаётся тем, кто потом сортирует хранилище.

Дверь открылась прежде, чем я успел постучать.

— Опоздали.

Я посмотрел на часы. Две минуты.

— Простите.

— Ничего. Я успела попрощаться.

С кем — я не спросил. Мы не задаём вопросов. Это второе правило, и оно держится крепче первого.

* * *

В квартире пахло так, как пахнет во всех таких квартирах. Лекарства, пыль, вода в вазе, которую забыли сменить. И ещё что-то под всем этим — запах, который появляется в доме за несколько дней до конца. У него нет названия. Но, научившись его узнавать, уже не ошибёшься.

Она шла впереди медленно, придерживаясь за стену. Не потому что не могла иначе. Так ходят люди, которые экономят оставшееся.

Квартира была пустой. Не бедной — именно пустой. Ни фотографий, ни книг, ни телевизора. Кресло, стол, два стула. На стене часы в деревянном корпусе, старые, с гирьками.

Они шли очень громко.

Тик.

Тик.

Тик.

— Садитесь.

— Я постою.

Она опустила на стул у стола и положила ладони на столешницу.

И вот тут я на них посмотрел.

* * *

Длинные пальцы. Короткие ногти, подстриженные ровно. Ни одного кольца, но на безымянном светлая полоса — след от того, что снимали недавно. Кожа тонкая, под ней синие жилки.

Руки не двигались.

Совсем.

Обычно клиенты перед процедурой не могут держать руки на месте. Они трут запястья, поправляют воротник, сцепляют пальцы и расцепляют. Тело знает, что сейчас из него достанут кусок, даже если голова уже согласилась.

Её руки лежали на столе, как чужие.

— Вы боитесь? — спросил я.

— Нет.

— Обычно боятся.

— Я не обычно.

Часы отсчитали ещё несколько секунд.

— А вы давно этим занимаетесь? — спросила она.

— Восемь лет.

— И сколько за восемь лет?

— Не считал.

Это была неправда. Тысяча девятьсот шесть. Цифра сама сидит в голове, я её не звал.

— Значит, много, — сказала она. — И как оно?

— Что именно?

— Носить.

— Я не ношу. Я перевожу. Это разные вещи.

Она посмотрела на мои руки в перчатках.

— Скажите, — сказала она, — а бывает так, что кто-нибудь передумывает? Уже здесь. Уже когда вы всё разложили.

— Бывает.

— И что тогда?

— Тогда я собираю кейс и ухожу. Аннулирование заказа, штраф двести. Мне всё равно.

— Вам всё равно, — повторила она.

Я не ответил. Мы не обсуждаем себя с клиентами. Правило третье, и оно самое простое, потому что обсуждать нечего.

— Хорошо, — сказала она. — Просто спросила.

Позже я вспомню этот разговор целиком, слово в слово, и пойму, что она не спрашивала.

Она проверяла, есть ли шанс, что я успею её остановить.

* * *

Я поставил кейс на стол и щёлкнул замками.

Внутри всё лежало по местам. Экстрактор. Контейнер. Сканер. Перчатки в запаянном пакете. Салфетки. Бланк.

Порядок помогает. Пока руки заняты понятной последовательностью, голова молчит.

Я надел перчатки и разложил бланк.

— Заказ четыре-одиннадцать-семь. Извлечение одного кристалла первой категории. Согласие подтверждаете?

— Подтверждаю.

— Распишитесь.

Она взяла ручку.

И подписала медленно.

Я убрал бланк в кейс.

— Где?

Она расстегнула две верхние пуговицы и отвела ткань в сторону.

Под левой ключицей был шрам. Старый, побелевший, длиной с ноготь. Не хирургический — такие остаются, когда кристалл вживляют кустарно, без анестезии, дома. Я видел десятки таких. Люди делают это сами, когда не хотят ждать очереди.

Я знаю, как выглядит такой шрам через восемь лет.

У меня под правой ключицей похожий.

Только мой оставил не нож.

— Восемь лет назад? — спросил я.

— Восемь.

— Сами?

— Сама.

Я поднёс сканер. Тихий сигнал.

Кристалл на месте. Масса в норме. Извлечение разрешено.

— Будет больно.

Она посмотрела на меня и улыбнулась.

— Хорошо.

* * *

И я поднял голову.
Просто чтобы понять, правильно ли я услышал.
Глаза у неё были серые, светлые и совершенно спокойные. Ни страха, ни просьбы. Только облегчение человека, который давно всё решил и наконец дождался.
Я смотрел на неё, наверное, две секунды.
Потом отвёл взгляд.
Восемь лет ни разу. И вот так — из-за одного слова.

* * *

Экстрактор коснулся шрама.
Кожа под ним посветлела изнутри, как будто под ней включили слабую лампу. Свет пошёл по краю рубца тонкой линией.
Она втянула воздух через зубы. Не вскрикнула.
Я повёл экстрактор вверх. Медленно, ровно, как учили: рывок разрушает границу, и тогда часть остаётся внутри, а часть выходит, и человек потом годами живёт с половиной.
Шрам разошёлся без крови.
Кристалл поднялся к поверхности, как что-то всплывает со дна.
Я подхватил его пинцетом.
Тёмный. Чуть больше перепелиного яйца. Полупрозрачный настолько, что сквозь него было видно свет лампы, но не форму. Внутри медленно двигалось что-то похожее на дым.
Тяжёлый.
Я взвешивал тысячи. Этот был тяжелее всего, что я держал в руках.

* * *

Чужая боль всегда выглядит одинаково. Отличается только вес.
Предварительная оценка в заказе стояла четыре целых две десятых. Это средняя утрата: похороны, развод, ребёнок, уехавший и не звонящий. Мы возим такое каждый день.
В пинцете лежало не меньше девяти.
Я оценил на глаз, как оцениваю восемь лет, и цифра встала сама: девять и четыре.
Девять — это не утрата. Девять — это когда человек считает себя виноватым в чужой смерти и считает так долго, что вина срастается с костью.
Такие кристаллы у нас называют глухими. Их не берут в общее хранилище, для них отдельный сектор, и туда ходят по двое.
Я держал его на весу и думал, что бланк придётся переписывать.

* * *

Шрам под ключицей закрылся сам. На коже осталась розовая полоса, которая через час станет белой.

Женщина выдохнула и откинулась на спинку стула.

Её лицо изменилось. Я не мог сказать, что именно в нём изменилось, — оно осталось тем же лицом, теми же морщинами. Но что-то ушло.

Так выглядит комната, из которой вынесли шкаф.

— Готово, — сказал я и повернулся к кейсу за контейнером.

Три секунды.

Мне понадобилось три секунды.

Её рука оказалась быстрее.

* * *

Пальцы, которые сорок минут не шевелились, взяли кристалл со стола раньше, чем я успел развернуться.

— Не надо.

Она уже прижала его к шраму.

— Отдайте.

Я схватил её за запястье. Тонкое, сухое, и оно не поддалось. Совсем. Как будто я держал не руку, а ветку.

Шрам вспыхнул.

Свет пошёл наружу через кожу, через ткань платья, через мои перчатки. Он не резал глаза. Он был тихим, и от него в комнате стало на несколько градусов холоднее.

Кристалл вошёл обратно.

Она открыла рот, но крика не вышло. Только короткий сухой звук.

Я отпустил запястье и подхватил её под спину. Она была лёгкой. Легче, чем должен весить человек её роста.

— Смотрите на меня. Слышите? Смотрите на меня.

Она смотрела.

И ей было не больно. Вот что было неправильно. Ей должно было быть больно — обратное вживание рвёт всё, что успело зарости. Но лицо у неё было спокойным.

Губы шевельнулись.

Я наклонился ближе.

— Восемь лет, — сказала она. — Без неё было пусто.

— Молчите.

— Вы не поняли. Я не хочу без неё.

Я потянулся к телефону.

Её пальцы легли мне на запястье. Легко, почти без нажима.

— Не надо.

— Вам нужна помощь.

— Мне нужно было её вернуть.

Она смотрела мимо меня, куда-то на стену, и там ничего не было, кроме часов.

— Боль — это единственное доказательство того, что я любила, — сказала она. — Вы забрали доказательство. А любовь осталась. И она стала не нужна.

Потом добавила совсем тихо, уже не мне:

— Теперь всё на месте.

Пальцы на моём запястье разжались.

* * *

Часы на стене щёлкнули и встали.

Я поднял голову.

Маятник качнулся ещё раз, коротко, и замер. Гирька осталась висеть на середине цепи.

Без двадцати пять.

Я знаю это время.

Откуда — сказать не могу. Просто увидел стрелки и понял, что уже видел их в этом положении, и что это было давно, и что вспоминать не надо.

Я стоял посреди чужой квартиры, держал на руках мёртвую женщину, а смотрел на циферблат. Не на неё. На стрелки.

Так меня учили: не смотреть.

* * *

Я опустил её на пол. Сложил ей руки на груди — не знаю зачем, никто этого не требует, в протоколе такого пункта нет. Просто её руки лежали неудобно.

Кожа под ключицей была гладкой. Ни шрама, ни следа. Как будто там никогда ничего не было.

Кристалл не вернуть. Обратное вживание в момент смерти сплавляет его с тканью. В отчёте это называется «утрата носителя». Три страницы объяснительной, комиссия, отзыв лицензии на девяносто дней.

Я думал об объяснительной.

Стоя над телом женщины, чьего имени я не спросил, я думал о том, что придётся писать объяснительную.

Восемь лет тренировки работают безотказно.

Я убрал экстрактор в кейс, снял перчатки, свернул их внутрь и положил в отдельный пакет. Закрыв замки. Взял кейс.

И только тогда заметил, что в комнате есть кресло.

И что в кресле кто-то сидит.

* * *

Женщина лет тридцати. Тёмное пальто, не снятое. Она сидела глубоко, откинувшись, и смотрела на меня.

Я прошёл мимо этого кресла четыре раза.

Её руки лежали на подлокотниках ладонями вниз. Неподвижно. Всё это время — совершенно неподвижно.

Я не вижу людей. Я вижу движение рук.

— Сколько она вам заплатила? — спросила женщина.

Голос был негромкий. Она не повысила его ни на полтона, хотя на полу между нами лежало тело.

— Кто вы?

— Вы не ответили.

— По тарифу. Четыре двести.

— И за эти четыре двести вы не вызвали помощь.

— Помощь ей была не нужна.

— Это решили вы?

— Это решила она. Восемь лет назад, когда резала себя кухонным ножом под ключицей.

Женщина медленно поднялась. Пальто было расстёгнуто, под ним обычный тёмный костюм, без знаков различия, без бейджа. Она подошла и остановилась над телом.

Посмотрела вниз. Долго.

— Вы держали её за руку, — сказала она.

— Она держала меня.

— Вы её не убрали.

Я промолчал.

— Носители не трогают клиентов, — сказала она. — Ни до, ни после. Есть регламент. Вы держали её за руку сорок секунд.

— Вы считали.

— Я всегда считаю.

* * *

Она наконец посмотрела на меня.

И я, вопреки всему, посмотрел в ответ.

Второй раз за сорок минут. Второй раз за восемь лет.

— Как вас зовут? — спросил я.

— Айна.

— Вы из комиссии?

— Нет.

— Тогда что вы здесь делаете?

Она достала из кармана телефон, что-то в нём выключила и убрала обратно.

— Записывала, — сказала она. — Сорок одна минута. С того момента, как вы вошли.

— Зачем?

— Пока не решила.

Я поставил кейс на пол.

— Вы понимаете, что сейчас произошло? Женщина мертва. Через час здесь будет комиссия. Вас спросят, почему вы сидели в кресле и молчали.

— Меня не спросят.

Она сказала это без вызова. Как говорят «завтра будет четверг».

— Заказ четыре-одиннадцать-семь оформлен вчера в двадцать один сорок, — продолжила она. — Не ею. У неё нет ни телефона, ни счёта, ни родственников. Кто-то оформил заказ на её адрес и выбрал носителя вручную. Из шестидесяти двух работающих в городе — вас.

Она наклонилась и подняла с пола ручку, которой женщина подписывала согласие. Посмотрела на неё и положила на стол.

— Так что нет, — сказала Айна. — Меня не спросят. Спросят вас.

Я молчал.

— Вы сейчас думаете об объяснительной, — сказала она. — Вы думали о ней, пока она лежала у вас на руках. Я видела ваше лицо.

— Вы не видели моего лица.

— Я видела ваши руки.

* * *

Айна перешагнула через тело и пошла к двери.

У порога обернулась.

— Завтра в восемь. Не опаздывайте, вы это плохо умеете.

Дверь закрылась.

Я остался стоять посреди комнаты, в которой было тело, остановившиеся часы и запах, у которого нет названия.

На столе лежала ручка.

Обычная, синяя. Колпачок обкусан не по кругу, а с одной стороны, слева: четыре вмятины подряд, и пятая глубже остальных.

Завтра я увижу такую же на столе у Бориса.

* * *

Я не запоминаю клиентов. За восемь лет ни одного лица.

Но её руки я запомню. Длинные пальцы, короткие ногти, светлая полоса на безымянном. Руки женщины, которая восемь лет носила в себе единственное доказательство того, что кого-то любила. И забрала его обратно, чтобы умереть целой.

Я отдал ей кристалл.

Я стоял рядом и смотрел, как она уходит.

Опять.

Глава 2. Инспектор

В Бюро чистоты нет часов.

Ни в коридорах, ни в кабинетах, ни в зале комиссии. Это не экономия и не забывчивость. Так решили специально, лет двенадцать назад, после того как один носитель просидел в приёмной четыре часа, глядя на секундную стрелку, а потом встал и шагнул в окно с пятого этажа.

Теперь тут нет часов. Время можно узнать только на своём телефоне, а телефоны на входе сдают.

Я сидел в приёмной и не знал, сколько сижу.

Напротив, на стене, висел плакат. Мужчина с серым кейсом наперевес, под ним надпись: «Ваша работа — облегчать. Не носить». Углы плаката отходили от стены. Кто-то поправлял их скотчем, и скотч тоже пожелтел.

Я смотрел на этот плакат, наверное, час.

Или двадцать минут.

Здесь это одно и то же.

Я знал это здание восемь лет. Я приходил сюда сдавать смену, продлевать лицензию, забирать выписки. И каждый раз в приёмной со мной происходило одно и то же: время переставало иметь длину. Без часов на стене мозгу не за что зацепиться, и он начинает мерить неправильно — то растягивает минуту в час, то сжимает час в минуту.

Говорят, это и было задумано. Человек, у которого отобрали часы, становится сговорчивее: он не знает, сколько его держат, и начинает думать, что виноват сам.

* * *

Секретарь была молодая, лет двадцати пяти, и у неё дрожали руки.

Не сильно. Так дрожат руки у человека, который вторую неделю спит по четыре часа и держится на кофе. Она перебирала бумаги, и края листов чуть шелестели.

— Носитель Лео?

— Да.

— Лицензия?

Я протянул карточку. Она провела ею по считывателю, посмотрела на экран, потом на меня.

— Здесь написано, что у вас тысяча девятьсот шесть извлечений.

— Да.

— За восемь лет?

— За восемь лет.

Она помолчала.

— Это много.

— Это средне.

Это была неправда. Средний носитель делает восемьсот за тот же срок, потом выгорает и уходит в диспетчеры. Я знал одного, который дошёл до тысячи двухсот и слёг с болезнью, которой врачи так и не поставили диагноз. Но объяснять это девочке с дрожащими руками я не собирался.

— Проходите. Он вас ждёт.

— Комиссия уже собралась?

— Комиссии не будет, — сказала она.

И вот тут я посмотрел на неё внимательнее.

При утрате носителя комиссия обязательна. Три человека, протокол, отзыв лицензии на девяносто дней. Это не обсуждается. Это не «может быть».

— Почему?

— Мне не сказали.

Её руки перестали шелестеть бумагой.

Она сложила их на коленях, под стол, и я больше их не видел.

* * *

Кабинет был маленький. Стол, два стула, шкаф с папками, окно во внутренний двор.

За столом сидел человек лет сорока, в костюме без пиджака, с закатанными до локтя рукавами. Перед ним лежал открытый блокнот.

— Садитесь.

Я сел.

Он не поднял головы. Дописал строчку, поставил точку, перевернул страницу.

Потом положил ручку в подставку.

В подставке стояло ещё восемь. Все разные. Синие, чёрные, одна с логотипом какого-то банка.

Он взял другую и покрутил её между пальцами.

— Борис, — сказал он. — Начальник отдела. Вы меня не помните, но мы виделись. Восемь лет назад, когда вы получали лицензию. Я подписывал.

— Не помню.

— Естественно. Тогда в очереди было сорок человек.

Он наконец посмотрел на меня.

У него были обычные глаза. Не холодные, не жёсткие — никакие. Он смотрел не в лицо и не в глаза, а куда-то в район переносицы, как смотрят на предмет, который надо описать в акте.

* * *

— Заказ четыре-одиннадцать-семь, — сказал он. — Клиентка, женщина, семьдесят девять лет. Извлечение первой категории. Утрата носителя. Ваш комментарий.

— Она вживила кристалл обратно. Я не успел.

— Сколько времени прошло между извлечением и вживлением?

— Три секунды.

— Вы уверены?

— Да.

Он записал. Ручка шла по бумаге, не отрываясь.

— Реанимационные мероприятия проводились?

— Нет.

— Почему?

— Обратное вживление сплавляет кристалл с тканью. Реанимация бессмысленна.

— Это вы решили на месте?

— Это написано в методичке. Страница сорок один.

Он кивнул, будто я подтвердил то, что он уже знал, и записал ещё строчку.

Потом отложил ручку в подставку и взял третью.

* * *

Я смотрел на его руки.

Пальцы короткие, ногти подстрижены под самый край. Ни заусенцев, ни следов от кольца. Руки, которые никогда ничего не сжимали.

Восемь лет я читаю людей по рукам, потому что в лицо смотреть нельзя, а куда-то смотреть надо. Руки говорят раньше рта: где человек врёт, где ему страшно, когда он решил и ещё не сказал.

Руки Бориса не говорили ничего.

Они лежали на столе ровно, брали ручку, ставили её обратно, брали следующую — и в этом движении не было ни напряжения, ни привычки, ни усталости. Так двигается не рука человека, а манипулятор на конвейере.

Я не смог прочитать по ним ничего.

Это было первое, что меня в нём насторожило.

* * *

— За прошлый квартал по городу двенадцать утрат носителя, — сказал он. — Из них девять — обратное вживление, две — отказ оборудования, одна — сердце. Вы двенадцатый.

— Тринадцатый.

— Двенадцатый. Одну сняли, там клиент оказался жив.

Он произнёс это ровно тем же тоном, каким назвал цифры. Как будто «оказался жив» — это графа в таблице.

— Знаете, что интересно? — сказал Борис. — Из девяти обратных вживлений семь — люди старше семидесяти пяти. Тенденция устойчивая третий год. Мы даже думали ввести возрастной ценз на первую категорию, но экономисты посчитали и сказали, что нет.

— Что нет?

— Что убыток. Эта возрастная группа даёт двадцать два процента оборота.

Он сказал это без всякого нажима.

Просто цифра.

Я смотрел на подставку с ручками и ждал, когда он назовёт срок отзыва лицензии.

* * *

— Один момент по протоколу, — сказал Борис. — Вы контактировали с клиенткой после наступления смерти?

— Нет.

— Точно?

— Я сложил ей руки на груди.

— Это контакт.

— Это не входит в регламент, но и не запрещено.
— Не запрещено, — согласился он. — А до наступления смерти?
— Я держал её.
— Сколько?
Я посмотрел на него.
Он ждал: ручка над бумагой, лицо ровное.
— Не знаю, — сказал я.
— Сорок секунд, — сказал Борис и записал.

* * *

Я сидел и смотрел, как он выводит цифру.
Вчера в той квартире было три человека, и один из них уже не мог ничего рассказать. Я не называл никаких секунд. Я вообще не говорил, что держал её за руку, — до этой минуты.
— Откуда сорок?
— Из материалов, — сказал Борис, не поднимая головы.
— Каких материалов?
Он дописал строку, поставил точку и закрыл блокнот.
— Носитель Лео, — сказал он. — Вы восемь лет работаете в системе, где клиентам не сообщают ваше имя, а вам не сообщают их. Вы никогда не спрашивали почему?
— Чтобы снизить выгорание.
— Так написано в методичке. Страница четыре.
Он положил ладони на закрытый блокнот.
— На самом деле для того, чтобы, когда что-нибудь случится, никто не мог назвать никого по имени. Ни вы их. Ни они вас.
Он выдержал паузу.
— Вчера в этой квартире вас называли по имени?
— Нет, — сказал я.
Это была неправда.
Меня спросили, как меня зовут, и я ответил первым.

* * *

— Отзыва не будет, — сказал Борис.
— Что?
— Лицензия остаётся. Работайте с завтрашнего дня, у вас три адреса.
— При утрате носителя положена комиссия.
— Положена.
— И девяносто дней.
— И девяносто дней, — согласился он. — Вы что, спорите?
Я молчал.
— У вас за восемь лет ни одного нарушения регламента, — сказал Борис. — Тысяча девятьсот шесть извлечений, ноль жалоб, ноль просрочек, ноль превышений веса. По категории «глухие» вы единственный в городе, кто ходит один.
— По регламенту туда ходят по двое.

— По регламенту. Но с вами не идёт никто, а вы идёте.

Он открыл ящик стола, достал папку и положил передо мной. Не открыл. Просто положил.

— Мы вас не наказываем, — сказал он. — Наказывают тех, кем можно рискнуть. Вами рисковать нерентабельно.

Он произнёс это как комплимент.

Я думаю, он и правда считал это комплиментом.

— Идите. Секретарь выдаст выписку.

* * *

Я поднялся.

И тогда увидел ручку.

Она лежала отдельно от подставки, у самого края стола, рядом с блокнотом. Обычная синяя ручка.

Колпачок был обкусан не по кругу, а с одной стороны, слева. Четыре вмятины подряд, и пятая глубже остальных.

Вчера я держал такую в руках. Я протянул её женщине в квартире сорок семь, и она подписала согласие медленно, как подписывают люди, которые понимают, на что идут.

Я стоял и смотрел на колпачок.

Совпадение — это когда две вещи похожи. Здесь совпадало не то, что ручка синяя и обкусанная. Совпадало место укуса, число вмятин и то, что пятая глубже.

Так не бывает у двух разных людей.

— Что-то ещё? — спросил Борис.

— Нет.

— Тогда до свидания.

Он взял со стола ту самую ручку и придвинул к себе блокнот.

Я вышел.

Уже в дверях услышал, как он говорит в телефон:

— Двенадцатая закрыта. Пиши в отчёт по естественным.

* * *

Айна стояла в коридоре у окна.

Я не видел её, пока не подошёл вплотную. Она стояла спиной, руки в карманах пальто, и не двигалась.

Я начинаю думать, что это не случайность.

— Долго? — спросила она, не оборачиваясь.

— Не знаю. Здесь нет часов.

— Сорок восемь минут.

— Вы опять считали.

— Я всегда считаю.

Она повернулась. Пальто было то же, тёмное. Волосы убраны. Под глазами лежала тень, которой вчера не было.

— Он не отозвал лицензию, — сказала она. Не вопросом.

- Откуда вы знаете?
- Потому что я попросила.
- Коридор был пустой. Где-то далеко хлопнула дверь.
- Кто вы такая?
- Я оформила заказ, — сказала Айна.
- Она сказала это просто. Без паузы перед, без нажима.
- Вчера вы сказали, что его оформил кто-то.
- Я и есть кто-то.

* * *

- Я поставил кейс на пол. Он стукнул громче, чем я хотел.
- Вы отправили меня к женщине, которая собиралась умереть.
 - Да.
 - Зачем?
 - Чтобы посмотреть, что вы сделаете.
- Она отвечала быстро. Каждый ответ сразу, без раздумья, будто она проговаривала их про себя всю ночь и теперь просто выкладывала по одному.
- И что я сделал?
 - Вы её не отпустили.
 - Она умерла.
 - Я знаю. — Айна на секунду отвела взгляд в окно. — Я сидела в двух метрах.
 - Вы сидели в двух метрах и молчали.
 - Да.
 - Вы могли её остановить.
 - Могла.
- И вот тут её рука вышла из кармана.
- Пальцы были сжаты. Не в кулак — просто сжаты, костяшки побелели, и большой палец давил на средний с такой силой, что кожа под ним пошла белым пятном.
- Она заметила, что я смотрю.
- Убрала руку обратно в карман.
- Не надо, — сказала она.
 - Что не надо?
 - Вы смотрите на руки. Не надо.

* * *

- Мы прошли по коридору до лестницы и остановились на площадке.
- Здесь пахло сигаретами, хотя курить в здании запрещено лет пять. Запах вьелся в стену и не выветривался.
- Мне нужна ваша помощь, — сказала Айна.
 - Нет.
 - Вы даже не спросили, в чём.
 - Мне всё равно, в чём.

— Это правда. — Она смотрела мимо меня, на лестничный пролёт. — Вам действительно всё равно. Поэтому я и выбрала вас из шестидесяти двух.

— Значит, ошиблись.

— Нет. Я выбрала правильно. Я просто выбрала не по той причине, по которой думала. Она достала телефон, что-то в нём открыла и повернула экран ко мне.

Фотография. Мужчина лет пятидесяти, седой, в светлой рубашке. Снято издалека, сбоку, человек не смотрит в камеру. Обычное лицо. Такое встречаешь в очереди и через минуту забываешь.

— Феликс, — сказала она.

— Кто это?

— Он покупает кристаллы. Не через Бюро. Мимо.

— Такого не бывает. Кристалл нельзя перевезти без лицензии.

— Можно, если носитель согласен.

Я посмотрел на неё.

— Вы предлагаете мне это?

— Нет. — Она убрала телефон. — Я предлагаю вам его найти.

— Обратитесь в Бюро.

— Бюро на него работает.

— У вас есть доказательства?

— У меня есть Борис, который сегодня не отозвал вашу лицензию, потому что я попросила. Как вы думаете, почему инспектор без должности может о чём-то попросить начальника отдела?

Я не ответил.

— Вот и я не знаю, — сказала она. — Я просто пользуюсь.

* * *

Внизу кто-то поднимался по лестнице. Айна замолчала и подождала, пока шаги стихнут этажом ниже.

— Он мой брат, — сказала она.

Я думал, что уже не удивлюсь ничему из того, что скажет эта женщина.

— Феликс?

— Феликс. Старший. Мне было десять, ему тридцать один.

— И вы хотите, чтобы я помог вам его найти.

— Да.

— Зачем вам это?

— Затем, — сказала она, — что он забрал у меня кое-что и не вернул.

— Кристалл?

Она посмотрела на меня.

— Тридцать два кристалла.

* * *

В коридоре было тихо. Совсем.

Я знаю, сколько весит один. Я знаю, что бывает с человеком, из которого вынули четыре: таких списывают в диспетчеры и держат под наблюдением два года.

Тридцать два.

Тридцать два — это не человек.

— Это невозможно, — сказал я.

— Я знаю, — сказала Айна. — Я стою перед вами.

Она поправила воротник пальто. Пальцы двигались быстро, коротко, и она сделала это дважды, хотя воротник и в первый раз лёг ровно.

— Вы сказали, вам всё равно, — продолжила она. — Хорошо. Мне не нужно, чтобы вам было не всё равно. Мне нужно, чтобы вы завтра пришли по адресу, который я пришлю, и посмотрели на одну вещь своими глазами. Дальше решайте сами.

— А если я не приду?

— Тогда вы отвезёте ещё тысячу кристаллов и однажды сядете в приёмной с плакатом напротив.

— Мне не отозвали лицензию.

— Я знаю, — сказала она. — Я к тому, что второй раз просить за вас я не стану.

* * *

Она пошла вниз по лестнице.

Я стоял и смотрел ей вслед и думал не о Феликсе, не о тридцати двух кристаллах и не о Борисе, который пишет утрату носителя в графу «естественные».

Я думал о её руке. О том, как большой палец давил на средний, пока кожа не пошла белым.

Так делают, когда терпят боль, о которой нельзя сказать вслух.

— Айна.

Она остановилась на середине пролёта.

— Один вопрос, — сказал я. — Вы знаете, где он. Вы знаете, кто он. Вы его сестра, он вас к себе пустит.

Она стояла спиной. Руки в карманах.

— Почему вы не убили его сами?

Она не обернулась.

Она стояла так долго, что я успел сосчитать до восьми.

Потом пошла вниз, и шаги её были ровными, и она не сбилась ни на одном.

Дверь внизу открылась и закрылась.

Я остался на площадке, где пахло сигаретами, которых здесь не курят пять лет.

Она не ответила.

И это был первый честный ответ, который я от неё получил.

Глава 3. Уборщица

Носитель не трогает клиента.

Ни до, ни после. Не подаёт руку, не поправляет одежду, не придерживает за плечо, когда человека ведёт после процедуры. Если клиент падает — можно поймать, это допускается. Всё остальное нет.

Правило четвёртое. Его объясняют в первый же день, и объясняют честно, без методички: прикосновение открывает канал. Кристалл, который ты только что вынул, ещё тёплый и ещё ищет, куда деться. Держи руки при себе, и он уйдёт в контейнер. Не удержишь — уйдёт в тебя.

За восемь лет я нарушил это правило один раз.

Вчера.

Сегодня его нарушили со мной.

* * *

Три адреса.

Первый — мужчина сорока лет, развод, четыре ровно.

Он открыл дверь в спортивных штанах и с полотенцем на шее, провёл меня на кухню и всё время, пока я раскладывал инструмент, объяснял, что вообще-то ему это не нужно, что он справляется, что просто друг посоветовал и он решил попробовать.

Подписал размашисто, не читая. Такие потом звонят в Бюро через месяц и спрашивают, можно ли вернуть.

Нельзя. Кристалл уходит в сектор по весу, а из сектора выдают только по решению комиссии, а комиссия собирается по заявлению, а заявление подаёт тот, кто может доказать, что ему стало хуже. Доказать это невозможно, потому что человек уже не помнит, как было раньше.

Я знаю эту цепочку наизусть. Я не рассказываю её клиентам. Это не входит в услугу.

* * *

Второй — женщина, кристалл на три и восемь, что-то про мать.

Пока я раскладывал инструмент, она успела рассказать, где училась, кем работала и почему не сложилось с сестрой. Я не задавал вопросов.

Люди говорят сами — это самое частое, чего не понимают снаружи. Считают, что мы вытягиваем. Ничего не надо вытягивать. Человек, который решился, говорит без остановки, потому что через сорок минут этого разговора уже не будет ни с кем.

Руки у неё двигались всё время, пока она говорила. Она собирала со скатерти невидимые крошки, складывала их в горсть, потом раскрывала ладонь и снова начинала собирать. Скатерть была чистая. Я смотрел на эти руки и думал, что она проделывает это движение не первый месяц и, наверное, даже не первый год.

Когда я поднёс сканер, руки остановились.

Так всегда. Тело замолкает первым.

Кристалл вышел чистый, ровный, три и восемь. Я уложил его в контейнер, закрыл, расписался.

— И что теперь? — спросила она.

— Ничего. Отдыхайте.

— Я про то, что теперь будет. Я буду её помнить?

— Будете.

— А что тогда ушло?

Мы не обсуждаем себя с клиентами, но про кристаллы объяснять можно, это входит в услугу.

— Помнить будете, — сказал я. — Только вспоминать перестанет быть больно.

Она посмотрела на свои руки. Они лежали спокойно, впервые за сорок минут.

— А это одно и то же?

— Нет.

Она подумала.

— А как я узнаю, что любила её, если больше не болит?

Я сложил бланк вчетверо и убрал в кейс.

В методичке на этот вопрос есть ответ, он на странице шестьдесят два, и звучит так: «эмоциональная привязанность сохраняется в полном объёме, изменяется только интенсивность негативной реакции при обращении к воспоминанию». Я произносил эту фразу вслух раз двести. Она работает: люди слышат длинные слова и успокаиваются.

В тот день я её не произнёс.

— Не знаю, — сказал я.

Она кивнула, будто именно этого и ждала.

* * *

Третий сорвался.

Клиент открыл дверь, посмотрел на кейс и сказал, что передумал. Я собрался и ушёл. Двести штрафа.

Он стоял в дверях, пока я спускался, и я слышал, что он не закрывает. Он закрыл, только когда я дошёл до второго этажа.

Такие мне нравятся больше всех. Они единственные, кто в этой цепочке сказал «нет» вслух.

К шести я закрыл смену.

Тысяча девятьсот девять.

Тысяча девятьсот семь был вчера, и его я не довёз.

* * *

Хранилище стоит на северной окраине, там, где кончаются жилые дома и начинается промзона. Здание длинное, в два этажа, без вывески. Окна только на первом, и те закрашены изнутри белым.

Сдача до двадцати двух ноль-ноль. Приезжаешь, снимаешь кейс с плеча, кладёшь на стойку, тебя сканируют вместе с кейсом. Потом контейнеры идут по ленте вглубь, а ты идёшь домой.

Работа несложная. Тяжёлое достаётся тем, кто внутри.

Я пришёл в половине девятого. В зале сдачи было пусто, лампа над стойкой мигала, приёмщик читал что-то в телефоне и не поднял головы.

— Два.

— Вижу.

Он провёл сканером. Лента дёрнулась и поехала.

Я смотрел, как два серых контейнера уходят в проём с резиновыми лентами. Первый — развод, четыре ровно. Второй — мать, три и восемь. За проёмом лента поворачивает и уходит вниз, к сортировке, и что происходит дальше, не видел ни один носитель в этом городе.

Нам это и не положено. Мы возим от двери до ленты.

— По четвёртому есть кто? — спросил я.

Четвёртый — это сектор глухих. Всё, что тяжелее девяти.

— Есть. Но тебе туда не надо, у тебя ничего нет.

— У меня вчера было.

Он наконец посмотрел на меня.

— Слышал. — Он вернулся к телефону. — Не парься, тебе ничего не будет. Тебе никогда ничего не бывает.

Второй раз за два дня мне говорят одно и то же.

* * *

Я всё равно пошёл к четвёртому.

Не знаю зачем. Вчерашний кристалл никуда не поехал, он остался в теле, которое к этому времени уже увезли. Смотреть было не на что.

Четвёртый сектор — это дверь в конце технического коридора и окно рядом с ней, узкое, в две ладони, с проволоочной сеткой внутри стекла. Дальше идёт помещение, которого я никогда не видел целиком. Видно только начало стеллажа и часть прохода.

Я подошёл к окну.

Кристаллы стоят в ячейках, каждый в своём гнезде, каждый прикрыт колпаком. Свет там дежурный, синеватый. Ряды уходят в темноту, и сколько их — отсюда не понять.

Всё это выглядит как склад. Аккуратный, скучный склад.

Я привёз сюда за восемь лет девяносто одну штуку. Цифру я не считал специально, она просто есть, как есть тысяча девятьсот девять. Девяносто одна вина за чужую смерть, доставленная от двери до ленты человеком, который ни разу не спросил имени.

Я простоял у окна минуту.

За это время внутри ничего не изменилось. Ничего не двигалось, ничего не мигало, ничего не издавало звуков — стекло толстое, оттуда вообще не проходит звук.

Но у меня заложило уши.

* * *

Так бывает в лифте, когда быстро едешь вниз: давление меняется, и ты слышишь собственную кровь.

Я стоял в пустом коридоре и слышал ровный низкий гул, у которого не было источника.

Гул был не в ушах. Я проверил: зажал уши ладонями — он остался. Ровный, где-то между висками, чуть ниже, ближе к горлу. Так гудит провод под напряжением, если встать под ним в тишине.

Только провода надо мной не было. Был коридор, дежурный синеватый свет за стеклом и ряды колпаков, под каждым из которых лежало то, что когда-то было чьей-то невыносимой памятью.

Я отошёл от окна на три шага, и гул кончился.

Подошёл — начался.

Отошёл на два — гул был, слабее. На три — не было. Я проделал это четыре раза, стоя один в служебном коридоре государственного учреждения, как проделывают опыт, в котором заранее знают ответ и всё равно проверяют.

Граница проходила ровно между вторым и третьим шагом.

В методичке этого нет. В методичке написано, что кристаллы инертны и не взаимодействуют между собой при соблюдении расстояния в гнездах. Страница девятнадцать.

Про носителя, который слышит их через стекло, там нет ни строки.

Я отошёл и больше не подходил.

Второй раз за два дня мне хотелось, чтобы кто-нибудь просто объяснил, что происходит.

* * *

Я пошёл через боковой коридор, чтобы не выходить под дождь с парадного.

Коридор длинный, освещён через одну лампу, вдоль стены тянутся трубы. Здесь всегда пахнет хлоркой и мокрым бетоном, и от этого запаха у меня всегда пересыхает в горле.

Я слышал их раньше, чем увидел.

Спицы.

Тихий, ровный, очень быстрый стук.

Она сидела на перевёрнутом ведре у стены, под лампой, которая не горела. Ведро было жёлтое, швабра лежала рядом на полу. Девятнадцать лет, может, двадцать. Форменный синий халат уборщицы, рукава закатаны.

Руки не останавливались ни на секунду.

Спица входила, петля сходила, спица возвращалась. Из-под её пальцев свисало полотно — серое, вязаное, длинное. Оно лежало на коленях и уходило вниз, на пол, кольцами.

* * *

Я стою в коридоре и смотрю на человека.

За восемь лет я научился не видеть людей, пока их руки неподвижны. Айна просидела в кресле сорок одну минуту, и я прошёл мимо неё четыре раза.

А эту я увидел с восьми метров.

Потому что её руки не останавливались.

— Здесь холодно, — сказал я.

Она не подняла головы.

— Мне не холодно.

Голос был очень тихий. Не робкий — просто тихий, как будто она давно выяснила, какая громкость нужна, чтобы её слышали, и больше не тратила лишнего.

Я подошёл ближе.

Шарф был длинный. Метра три, может, больше. Он лежал на полу неаккуратными кольцами, и нижний край уже посерел от бетонной пыли.

— Кому вяжете?

— Никому.

— Тогда зачем?

Спицы шли ровно.

— Хочу закончить, — сказала она.

Я ждал продолжения. Продолжения не было.

— И когда закончите?

— Не знаю. Когда закончится.

* * *

Телефон в кармане завибрировал.

Айна. Адрес, время — завтра, одиннадцать. И одна строчка: «Придёте — увидите сами. Не придёте — я больше не пишу».

Я стоял в коридоре с телефоном в руке, и это было первое за два дня, что не требовало от меня ответа прямо сейчас.

— У вас всё ещё звенит, — сказала девушка.

Я убрал телефон.

— Что звенит?

— Внутри.

Спицы не остановились.

Я посмотрел на неё внимательнее.

Она не смотрела на меня. Ни разу за весь разговор — ни когда я подошёл, ни когда заговорил. Взгляд шёл в петлю, в спицу, в узел. Так смотрят люди, которым чужое лицо мешает думать.

Я такой же, только наоборот.

— Вы здесь работаете? — спросил я.

— Убираю.

— Долго?

— Одиннадцать месяцев.

— Нравится?

Она не ответила. Спица вошла, петля сошла.

— В четвёртом секторе тоже убираете?

Спицы встали.

Впервые за всё время.

— Туда я не хожу, — сказала она.

— Почему?

— Там громко.

* * *

Я стоял и молчал.

Я только что четыре раза отмерил шагами границу, за которой начинается звук, которого нет. Я сделал это тайком, в пустом коридоре, и собирался никому об этом не говорить, потому что человек, который слышит склад, идёт не домой, а на медкомиссию.

А девятнадцатилетняя уборщица сказала это вслух, между делом, объясняя, почему не берёт швабру в дальний конец здания.

— Громко — это как? — спросил я.

— Как громко, — сказала она. — Вы же слышали.

Она не подняла головы и не сделала паузы. Она не спрашивала. Она констатировала, как констатируют, что на улице дождь.

* * *

Она отложила вязание на колени и начала подниматься. Ведро качнулось.

Я сделал то, что делает любой человек, когда рядом с ним падает ведро.

Я протянул руку.

Она взялась.

Пальцы у неё были тонкие и очень тёплые. Теплее, чем должно быть в этом коридоре. Она держалась за мою ладонь ровно столько, сколько нужно, чтобы встать, — секунду, может, полторы.

Потом её пальцы сжались.

Не как держатся. Как хватаются.

* * *

Правило четвёртое: не трогай клиента, прикосновение открывает канал.

Она не была моим клиентом. Я ничего у неё не вынимал, между нами не было ни экс-трактора, ни кристалла — только её ладонь в моей.

Но что-то пошло. Я отметил это кожей: не тепло, а как будто ладонь стала тоньше, и через неё в обе стороны потянуло, как тянет в приоткрытую дверь между тёплой и холодной комнатой.

— Отпустите, — сказал я.

Она не отпустила.

Её лицо изменилось. Не испугалось — я знаю, как выглядит испуг, я видел его тысячу девятьсот девять раз. Изменилось иначе. Стало пустым, как будто из-под кожи вынули опору.

Губы шевельнулись.

— Сколько же их у тебя, — сказала она.

Она смотрела не на меня.

Она смотрела мне куда-то под ключицу, правее середины, и смотрела так, как смотрят в окно.

— Отпустите руку.

— Она кричит.

— Кто?

— Внутри. Она кричит всё время. Как вы спите?

И вот тут я поднял глаза.

* * *

У неё были светлые глаза, серо-зелёные, с рыжей крапинкой у зрачка.

И в них стояла вода.

Не слёзы. Вода.

Тёмная, спокойная, чуть рябая у края, какая бывает в закрытых водоёмах в конце августа, когда лето уже кончилось, а никто ещё не признал. Я видел её так же ясно, как вижу сейчас эту страницу. Видел линию дальнего берега. Видел, что вода стоит высоко, почти вровень с мостками.

Я знаю эту воду.

Я не был там двадцать восемь лет.

Пальцы девушки разжались, и она пошла вниз.

* * *

Я поймал её раньше, чем понял, что двигаюсь.

Она была лёгкая, как та, вчерашняя, и это меня, наверное, и разбудило. Я опустил её на пол, подложил под голову свёрнутый халат и отодвинул ведро.

Дыхание было. Пульс был. Зрачки среагировали на свет от телефона.

Обычный обморок.

Так пишут в протоколе, когда не хотят разбираться.

* * *

Она открыла глаза через сорок секунд.

Я знаю точно, потому что считал. Второй день подряд в этом городе все считают.

— Что вы делаете, — сказала она.

Не вопрос. Она смотрела в потолок.

— Вы упали.

— Я знаю.

Она села. Медленно, придерживаясь за стену. Подобрала спицы, проверила петли — ни одна не спустилась — и положила вязание на колени.

Руки снова пошли.

— Такое часто? — спросил я.

— Когда трогаю.

— Кого?

— Кого-нибудь.

Она вязала, глядя в петли.

— Обычно тихо, — сказала она. — У людей внутри одна, две. Их почти не слышно. У вас...

Она сбилась. Петля соскочила, она подцепила её и вернула.

— У вас там очень много. И они не лежат.

— Что значит не лежат?

— Ходят.

* * *

Я стоял над ней, в коридоре, где пахло хлоркой, и слушал, как девятнадцатилетняя уборщица объясняет мне, что у меня внутри.

Там ничего нет. Это профессиональное требование. Носитель должен быть пустым — иначе чужое найдёт, за что зацепиться, и не отпустит. Меня проверяли при выдаче лицензии и проверяют раз в год. Последняя проверка была в марте: сканер, две минуты, подпись врача. Ноль.

Я всё это знал, стоя там.

И всё равно поднял руку и потрогал место под правой ключицей, через куртку, через рубашку, — то самое, куда она смотрела.

Под пальцами был шрам. Старый, восьмилетний, аккуратный.

Я не думал о нём, наверное, лет пять.

— Сколько вы их слышите? — спросил я.

— Не считаю.

— Примерно.

Спицы шли ровно.

— Как в столовой, — сказала она. — Когда все говорят.

— Одновременно?

— Да.

— И слов не разобрать?

Она остановилась.

Подняла одну петлю, посмотрела на неё близко, будто там был дефект, и опустила обратно.

— Одно разобрала, — сказала она.

— Какое?

— Имя.

* * *

Я стоял и ждал.

— Женское, — сказала она. — Короткое. Я не запоминаю имена, они у меня не держатся.

— Постарайтесь.

— Не надо.

Она сказала это громче, чем всё остальное. Не намного. Но громче.

— Почему?

— Потому что, когда вы услышите, оно станет ваше. — Спицы пошли снова. — Сейчас оно ничьё. Пусть лежит.

Я не стал настаивать.

Не потому что послушался. Потому что стоял в служебном коридоре, слушал стук спиц и понимал, что готов сесть на пол рядом с этим ведром и просидеть здесь столько, сколько понадобится, лишь бы она вспомнила.

Вот это было хуже всего.

За восемь лет я ни разу не задержался нигде дольше положенного. Сорок минут в квартире, десять минут сопровождения, до двадцати двух на сдаче. Я всегда уходил вовремя и всегда с облегчением.

А тут стоял и не уходил.

* * *

— Вам туда не надо, — сказала девушка.

— Куда?

— Куда вы завтра пойдёте.

Спицы шли ровно.

— С чего вы взяли, что я куда-то пойду?

— Вы посмотрели в телефон и перестали дышать, — сказала она. — Все так делают перед тем, как пойти.

* * *

Я дошёл до конца коридора и обернулся один раз.

Она сидела под погашенной лампой на жёлтом ведре и вязала. Шарф лежал на полу кольцами и уходил в темноту, и не было видно, где он кончается.

— Как вас зовут? — спросил я.

Второй раз за два дня я спрашиваю чужое имя. За восемь лет до этого — ни разу.

— Зоя.

— Зоя, а зачем шарф, если он никому?

Она пожала плечами. Спицы не сбились.

— Хочу посмотреть, как выглядит законченное, — сказала она.

* * *

Я вышел на улицу.

Дождь перестал. Асфальт блестел, от труб на крыше поднимался пар, и город стоял вокруг, серый и обыкновенный.

Я шёл к остановке и думал не о ней.

Я думал о том, что она не испугалась.

Человек, который держит меня за руку и говорит, что внутри у меня кто-то кричит, должен испугаться меня. Она не испугалась. Она села обратно на ведро и продолжила вязать, потому что ей надо было закончить.

Испугался я.

Не за неё — она дышала ровно, зрачки реагировали, всё в порядке.

За себя.

Потому что вода в её глазах стояла высоко, почти вровень с мостками, и я знаю только один водоём, где вода стоит так.

И я двадцать восемь лет был уверен, что не помню, как он выглядит.

Глава 4. Пираньи

Носитель не хранит дома ничего.

Ни кристаллов, ни контейнеров, ни расходников. Кейс сдаётся на смену и принимается со смены, инструмент числится за Бюро, и раз в год приходит человек с описью. Обнаружение кристалла в жилом помещении — статья первая, часть вторая. Отзыв лицензии без срока и уголовное.

Восемь лет я не нарушал этого правила.

Восемь лет у меня в квартире лежит кристалл.

Это не противоречие. Я просто никогда не считал его кристаллом.

* * *

Аквариум достался мне вместе с квартирой.

Прежний жилец уехал в спешке, оставил мебель, оставил рыб и оставил записку с режимом кормления. Я собирался пристроить их в первую же неделю. Потом выяснилось, что пираньи — это не то, что берут.

Их четыре. Две крупные, две помельче. Они висят в воде почти неподвижно, поворачиваются всем телом, и глаза у них не двигаются вообще. Кормлю через день, мороженым кормом, из пинцета.

Хорошая скотина. Не подходит к стеклу, когда возвращаешься. Не скушает. Ничего от тебя не хочет, кроме еды, и не притворяется, что хочет.

За восемь лет я к ним привык.

Грунт в аквариуме крупный, тёмный, слоем в три пальца. Под корягой, в левом дальнем углу, лежит стеклянный флакон из-под глазных капель. Внутри кристалл.

Он маленький. Меньше вчерашних, меньше любого, что я возил. Мутный, серый, без движения внутри. Я не знаю, сколько он весит, потому что ни разу его не сканировал.

Он появился восемь лет назад. Я проснулся дома, на своей кровати, одетый. На тумбочке лежал он, а под правой ключицей был шов, аккуратный, профессиональный, ещё не заживший.

Я не помню, кто его наложил.

Я вообще не помню ту неделю. Мне сказали, что я болел.

* * *

В то утро я кормил рыб.

День был кормовой — через день, я не сбиваюсь. Достал брикет из морозилки, отколол угол, взял пинцет.

Первая берёт корм на середине падения. Вторая ждёт у дна. Две мелкие подбирают то, что упустили. Порядок у них не меняется восемь лет.

Пока они ели, я смотрел на левый дальний угол.

Коряга. Грунт. Ничего.

Вчера Айна прислала адрес и время — сегодня, одиннадцать. И строчку: не приду — она больше не пишет.

Я не решил.

Это, наверное, надо объяснить. Восемь лет я не принимал решений сложнее, чем в каком порядке ехать по трём адресам. Заказ приходит, ты едешь. Смена кончается, ты сдаёшь кейс. Не надо выбирать, не надо взвешивать, не надо потом лежать и перебирать, как оно вышло бы иначе.

Люди снаружи думают, что это тяжёлая работа. Тяжёлая — это когда решаешь. У меня за восемь лет не было ни одного решения, и это была лучшая часть должности.

Я поставил пинцет в стакан и сказал себе, что решу в половине одиннадцатого.

В девять двадцать за меня решили.

* * *

Стук был в девять двадцать.

Не звонок. Стук — три ровных удара, потом пауза, потом ещё три.

Я открыл.

В коридоре стояло пятеро. Двое в форме Бюро, один в штатском с планшетом, кинолог и собака. Собака была небольшая, рыжая, спаниель, и сидела так спокойно, как сидят только очень рабочие животные.

Пятой была Айна.

На ней было не пальто, а серый форменный китель с нашивкой отдела. Волосы убраны туго, в руке планшет. Она стояла чуть впереди остальных.

— Носитель Лео? — сказал штатский. — Плановая проверка жилого помещения. Основание — статья первая. Ознакомьтесь и распишитесь.

Он протянул планшет.

Я посмотрел на Айну.

Она смотрела на меня, и в лице у неё не было вообще ничего. Ни узнавания, ни извинения, ни предупреждения. Так смотрят на дверной косяк.

— Распишитесь, — повторил штатский.

Я расписался.

* * *

Собака пошла первой.

Кинолог отстегнул поводок у порога, и спаниель пошёл по квартире ровным деловым шагом, опустив нос. Он не суетился. Он работал.

Кристаллы пахнут. Не для нас — для них. Носители этого запаха не чувствуют, инструментальный контроль его не берёт, а собака берёт с двух метров через закрытый контейнер. Я видел, как такие псы находили кристалл, зашитый в матрас.

Прихожая. Кухня. Ванная.

Спаниель обошёл кухню по периметру, ткнулся в мусорное ведро, потерял интерес, пошёл дальше.

Двое в форме работали молча и аккуратно. Не швыряли вещи, не переворачивали ящики. Открыли шкаф, прошли по полкам ладонью, закрыли. Открыли холодильник. Посмотрели за бачком в туалете.

Айна стояла в дверях комнаты и не двигалась.

Планшет держала в левой руке, экраном к себе. Правая была опущена вдоль тела. Я стоял у стены, где мне велели стоять, и следил за собакой.

* * *

— Один живёте? — спросил штатский.

— Один.

— Гости бывают?

— Нет.

Он поставил галочку.

— Восемь лет стажа, — сказал он, глядя в планшет. — Тысяча девятьсот девять. У нас на весь город четверо с таким показателем.

— Трое, — сказал я.

Он поднял глаза.

— Четвёртый умер в апреле, — сказал я. — Ханов. Вы его вычеркнуть забыли.

Штатский посмотрел в планшет, потом на меня, потом снова в планшет и ничего не ответил.

Спаниель прошёл кухню второй раз, теперь по диагонали, и вышел в коридор.

— Долго ещё? — спросил я.

— Пока не закончим.

— Мне на смену к двенадцати.

— Смену за вами сохраняют.

Один из формы открыл шкаф в прихожей и начал снимать с полки коробки. Обувные, пустые, я их не выбрасываю, потому что не знаю, зачем выбрасывают коробки. Он открывал каждую, заглядывал, ставил на пол.

Шесть коробок.

Все пустые.

— Живёте небогато, — сказал штатский. Без насмешки, просто отметил.

— Мне хватает.

— На вашей ставке можно и лучше.

— Мне некуда тратить.

Он опять поставил галочку, и я подумал, что где-то в его форме есть графа «мотивация» и я в неё только что попал.

* * *

Собака вошла в комнату на девятой минуте.

Прошла вдоль дивана. Обнюхала стык плинтуса. Поднялась на задние лапы, поставила передние на подоконник, опустилась.

Потом развернулась и пошла к аквариуму.

Я не двинулся.

Спаниель подошёл к тумбе и остановился в полуметре. Поднял морду. Опустил. Снова поднял.

И заскулил.

Тонко, коротко, один раз — и отступил на шаг назад.

Кинолог поднял голову.

— Что там?

— Ничего, — сказал я. — Рыбы.

Собака отступила ещё на шаг. Она не рычала и не лаяла. Она пятилась от тумбы задом, не сводя с неё глаз, и хвост у неё был опущен.

Кинолог подошёл, наклонился, посмотрел на аквариум, потом на пса.

— Первый раз такое, — сказал он.

— Что именно?

— Он не отказывается. Он боится.

* * *

Я знал разницу, хотя видел собак на работе редко.

Пёс, наткнувшийся на кристалл, садится и смотрит. Это команда, за неё дают корм, для него это удача. Он не пьётся.

Пьётся животное от того, что больше него и живое.

Спаниель вёл себя так, будто за стеклом была не вода с рыбой, а что-то, что смотрело на него в ответ. Он поджал хвост и не сводил глаз с тумбы, и по тому, как переступал лапами, было видно: он хочет отсюда уйти и не может, потому что на службе.

* * *

Айна отделилась от косяка.

Она подошла к аквариуму, не торопясь, и остановилась перед стеклом.

Четыре рыбы висели в воде и смотрели на неё. Все четыре развернулись мордами к стеклу одновременно, как поворачивается косяк.

— Красивые, — сказала она.

— Пирании.

— Я вижу.

Она наклонилась ближе. Лампа над аквариумом отражалась в стекле, и в этом отражении я видел её лицо целиком — сверху вниз, как в витрине.

— Сканер воду не берёт, — сказала она негромко, не оборачиваясь. — Слой больше десяти сантиметров — и всё, глухо. Это известная дыра, о ней писали в семнадцатом. Её не закрыли, потому что дорого.

— Интересно.

— Очень.

Она поставила планшет на тумбу.

И начала закатывать рукав кителя.

* * *

Я сделал шаг вперёд раньше, чем решил его сделать.

- Не надо.
- Почему?
- Они кусаются.
- Все кусаются.

Рукав был закатан до локтя. Рука тонкая, бледная, с одной родинкой у запястья. Она подняла её над водой.

Пираньи ушли вниз. Все четыре, разом, к самому грунту, к коряге — и встали там, развернувшись вверх.

Так они делают перед кормлением.

- Уберите руку, — сказал я.
- Скажите, что там лежит.
- Там грунт и коряга.
- Скажите правду, и я уберу.

Её пальцы коснулись воды.

Я перехватил её запястье.

* * *

Вода вскипела.

Это заняло, наверное, полсекунды. Одна крупная пошла вверх по прямой, за ней остальные, и там, где секунду назад были её пальцы, схлопнулось четыре пасти подряд — щёлк, щёлк, щёлк, щёлк, — сухо и очень громко, громче, чем можно ожидать от рыбы.

Брызги попали мне на лицо.

Одна рыба ударилась мордой о поверхность и ушла обратно.

Я держал её руку в двадцати сантиметрах над водой. Держал крепко, и она не вырывалась.

В комнате стало очень тихо. Кинолог держал пса за ошейник. Один из формы стоял с открытым ящиком в руках и не двигался.

Айна смотрела на воду.

Потом медленно повернула голову и посмотрела на моё запястье. На своё. На то, как мои пальцы лежат на её коже.

— Носители не трогают, — сказала она. — Ни до, ни после.

— Вы не клиент.

— Верно.

Я разжал пальцы.

* * *

Она опустила руку и спокойно, не спеша, раскатала рукав обратно. Застегнула манжету. Одна пуговица, вторая.

Пальцы не дрожали.

Ни один.

Я стоял в полуметре и смотрел на эти пальцы, и вот что было неправильно. Человек, у которого над водой только что схлопнулись четыре пасти, застёгивает манжету не так. У него не попадает пуговица в петлю с первого раза. Он делает лишнее движение, поправляет что-нибудь, откашливается.

Она застегнула обе пуговицы с первого раза.

— У вас на руке останется, — сказала она.

— Что останется?

— След. Вы держали сильно.

Она подняла запястье и показала. На бледной коже проступали четыре тёмные полосы — там, где были мои пальцы.

Кинолог отвернулся и стал пристёгивать поводок.

— Оформлять будете? — спросил штатский, не поднимая головы. — Воспрепятствование, часть первая.

Айна посмотрела на своё запястье. Долго. Дольше, чем нужно, чтобы решить.

— Нет, — сказала она. — Не буду.

— Основание?

— Он меня не удерживал. Он меня убрал.

Штатский пожал плечами и что-то отметил.

Она опустила рукав до конца и застегнула его.

* * *

Я взял со стола полотенце и вытер лицо.

И в этот момент увидел цифры.

Планшет лежал на тумбе экраном вверх, вплотную к аквариуму, и его экран отражался в боковом стекле — перевёрнуто, размыто водой, но читаемо.

Белым по тёмному, крупно, в углу:

11:15

Я посмотрел на свои наручные часы.

Девять сорок одна.

Посмотрел обратно.

11:15

Айна взяла планшет с тумбы и убрала под мышку, экраном к себе.

— Закончили, — сказала она в комнату.

— По протоколу ещё кухня, — сказал штатский.

— Кухню прошли. Пиши: нарушений не выявлено.

* * *

Они уходили восемь минут.

Собака вышла первой и на пороге оглянулась в комнату. Не на меня. На тумбу с аквариумом.

Айна вышла последней.

В дверях остановилась и, не понижая голоса, сказала так, чтобы слышали все в подъезде:

— Носитель Лео, проверка проведена в соответствии с регламентом. Нарушений не выявлено. Претензий к сотрудникам Бюро имеете?

— Нет.

— Всего доброго.

Дверь закрылась.

* * *

Я стоял посреди комнаты.

На полу были брызги. Пираньи вернулись на середину аквариума и висели там, как висели всё утро, неподвижно, глядя в стекло.

Я сел на пол рядом с тумбой.

Руки положил на колени.

И они начали дрожать.

Не сразу. Сначала правая, потом левая. Мелко, ровно, без остановки — так дрожат у человека, который вторую неделю спит по четыре часа.

Я смотрел на них минуты три.

За восемь лет со мной такого не было ни разу.

* * *

Телефон завибрировал в двадцать шесть минут одиннадцатого.

Айна:

Ты дрожал. Не сейчас. Там, у стекла, когда держал меня за руку. Я почувствовала.

Через минуту второе.

Айна:

Ты не умеешь врать. Ты просто молчишь и думаешь, что это одно и то же. Это разные вещи, и я вижу разницу.

Ещё через минуту третье.

Айна:

Я знаю, что ты прячешь кристалл. Вопрос не в этом. Вопрос — почему ты его не сдал восемь лет назад и почему не сдал сегодня, когда собака уже стояла у стекла. Подумай над ответом. Я приду за ним не сегодня.

Я прочитал все три дважды.

Потом положил телефон экраном вниз.

* * *

В одиннадцать я не поехал по адресу, который она прислала вчера.

Я сидел на полу у аквариума и смотрел на воду.

Собака боялась не кристалла. Собаки не боятся кристаллов, они на них обучены, для них это работа и корм. Она боялась того, что стоит рядом со стеклом, и, когда уходила, оглянулась именно туда.

Я знаю, что я не хранил его восемь лет из осторожности.

Я не сдал его, потому что не хочу знать, что внутри.

Раньше это можно было не формулировать.

Теперь сформулировано.

* * *

В половине двенадцатого я закатал рукав, опустил руку в аквариум и достал флакон. Вода была тёплая, двадцать шесть градусов, как положено. Рыбы отошли к дальней стенке и оттуда смотрели.

Флакон был скользкий от налёта. Я вытер его о штанину и поставил на стол.

Стекло помутнело от старости. Кристалл внутри лежал ровно, серый, размером с ноготь мизинца.

Сканер у меня есть. Личный, старый, списанный, я купил его на третий год работы, когда мне казалось, что я хочу разобраться в профессии. Он лежит в ящике под инструментом.

Я достал его.

Включил.

Он загрузился, пискнул, показал готовность.

* * *

Я держал сканер в правой руке, флакон в левой, и между ними было сантиметров тридцать.

Одно движение. Свести руки, поднести прибор к стеклу, и через две секунды на экране будет цифра — вес того, что я ношу под корягой восемь лет. Я делал это тысячу девятьсот девять раз с чужими кристаллами, не задумываясь. Рука знает движение наизусть.

Рука не пошла.

Между сканером и флаконом стояло тридцать сантиметров и восемь лет, за которые я ни разу не захотел узнать. Пока цифры нет, это просто мутное стёклышко под корягой, которое можно не считать кристаллом. Появится цифра — станет вес. А у веса есть категории, и я слишком хорошо знаю, что означает каждая.

Ниже четырёх — мелочь, такое возят стажёры.

Четыре-пять — утрата.

Девять — вина за чужую смерть.

Я просидел так, пока экран не погас от бездействия.

Потом положил сканер обратно в ящик, а флакон вернул под корягу и досыпал сверху грунта.

Руки к тому времени уже не дрожали.

* * *

Она была права насчёт одного: я действительно думал, что молчать и не лгать — это одно и то же.

Восемь лет я держал в квартире вещь, которую боится собака, кормил рыб через день и считал себя пустым.

Она войдёт сюда снова. Я это понимаю. Но в следующий раз ей не понадобятся ни собака, ни ордер, ни закатанный рукав.

Она уже вошла.

Через экран, который лежит у меня экраном вниз и который я всё равно переверну.

Глава 5. Выбор

В методичке нет правила о том, чтобы никого не заводить.

Оно не нужно. За него работает статистика.

Нам её показывают на вводном курсе, третий день, после обеда, когда все уже расслабились. Слайд с двумя цифрами. Через пять лет работы восемьдесят два процента носителей живут одни. Через восемь — девяносто один.

Инструктор тогда сказал: это не потому, что нас бросают.

Это потому, что мы перестаём звонить.

Я записал обе цифры в блокнот. Мне было двадцать восемь, я сидел в предпоследнем ряду и думал, что со мной будет иначе.

Мне тридцать шесть. Я живу один. Из тех, кто сидел со мной в том зале, я не помню ни одного лица.

Иногда я думаю, что инструктор ошибся в одном слове. Он сказал: мы перестаём звонить. На самом деле мы перестаём носить в себе людей. Работа устроена так, что весь день ты берёшь чужое и везёшь его в точку Б, где оно ложится на полку, и постепенно ты и сам начинаешь всё раскладывать по полкам — соседа, продавца, женщину, с которой мог бы, — потому что держать в себе живого человека тяжелее, чем довести кристалл.

Кристалл хотя бы можно сдать до двадцати двух ноль-ноль.

Человека сдать некуда.

* * *

Я приехал в хранилище к восьми, хотя сдавать было нечего.

Смену я закрыл в четыре. Два адреса, оба ровные, оба без разговоров.

Первый — мужчина шестидесяти лет, кристалл на четыре и один, категория «утрата». Он молчал всю процедуру, а когда я закрыл контейнер, спросил, можно ли посмотреть. Показывать не запрещено. Я развернул контейнер окошком к нему, он смотрел секунд двадцать, потом кивнул и сказал: «Маленький какой».

Все так говорят. Люди почему-то уверены, что их должно быть много.

Второй — молодая женщина, три и шесть. Она попросила не выходить сразу, посидеть минут пять, потому что боялась остаться одна в квартире. Регламент это допускает: до десяти минут, оплачивается отдельно, графа «сопровождение». Я сидел на кухне и смотрел, как она пьёт воду.

Она не плакала. Люди после процедуры почти никогда не плачут, и это самое неприятное, что в ней есть.

К вечеру начался дождь и не переставал.

* * *

Приёмщик был тот же. Он посмотрел на меня, потом на мои пустые руки.

— Ты чего?

— Забыл кое-что.

— Что забыл?

— Не помню.

Он хмыкнул и вернулся к телефону.

Я постоял.

— Слушай, — сказал я. — У вас девушка убирает. Молодая, с вязанием.

Он поднял голову. Медленно.

— А тебе зачем?

— Спросить хочу.

— Не надо, — сказал приёмщик.

— Почему?

Он положил телефон экраном вниз. Первый раз за два дня я видел, чтобы он это сделал.

— Потому что её тут официально нет, — сказал он. — В штате нет, в графике нет, пропуска нет. Приходит, убирает, уходит. Платят из чёрной кассы, налом, раз в неделю. Одиннадцать месяцев так.

— Кто платит?

— Не я.

— А кто?

— Слушай. — Он наклонился вперёд. — Мне до пенсии четыре года. Я не спрашиваю, кто её сюда поставил и почему её не гонят. Я не спрашиваю, почему в четвёртый сектор её не пускают, хотя убрать там надо больше всего. И тебе не советую.

— Она сегодня здесь?

Он посмотрел на меня долгих три секунды.

— В подвале, — сказал он. — Второй уровень, где старые ячейки.

* * *

Она сидела на нижней ступеньке лестницы.

Ведро стояло рядом, швабра в ведре, вода грязная и давно остывшая. Шарф лежал у неё на коленях, и она не вязала.

Просто держала.

Спицы торчали из полотна, воткнутые, как втыкают посреди ряда и забывают.

— Зоя.

Она повернула голову на голос, но не подняла глаз.

— Вы вернулись.

— Вернулся.

— Не надо было.

Я сел на ступеньку выше. Бетон был холодный.

— Почему вы не вяжете?

Она посмотрела на свои руки.

— Сбилась, — сказала она. — Вчера. Тут где-то. — Она провела пальцем по полотну сантиметров на тридцать выше края. — Я не нахожу где.

— Распустите и перевяжите.

— Тогда придётся распустить всё, что после.

Она сказала это спокойно, как говорят о законе природы.

* * *

— Сегодня приходили, — сказала она.

— Кто?

— Двое. Не в форме. Спрашивали, есть ли тут девушка, которая чувствует.

Я молчал.

— Приёмщик сказал, что нет, и они ушли. Но один потом стоял на улице до конца смены. Я в окно видела.

— Как выглядел?

— Не смотрела на лицо. — Она подняла глаза на секунду и тут же опустила. — У него на руке были часы. Стояли.

Я отметил, что стою слишком ровно. Так стоишь, когда услышал важное и не хочешь, чтобы это было видно по телу.

— Стояли — это как?

— Не шли. Я долго смотрела. Стрелки не двигались.

— Может, сломались.

— Может.

Она снова взялась за спицы и не начала.

* * *

— Зоя, то имя. Которое вы слышали.

— Я сказала — не надо.

— Мне надо.

— Вам кажется, что надо.

Она поднялась, взяла ведро.

— Знаете, что бывает, если долго держать в руках чужое? — сказала она. — Оно нагревается и становится похоже на своё. И потом уже не отличишь.

Она пошла вверх по лестнице, и шарф тащился за ней по ступенькам.

На четвёртой остановилась.

— Вы спросили, почему я тут убираю, — сказала она, не оборачиваясь.

— Не спрашивал.

— Хотели.

Она перехватила ведро в другую руку.

— Мне здесь спокойно. Дома у соседей внизу женщина, у неё внутри одна, очень тяжёлая, и она через пол. Я слышу её каждую ночь. В магазине их сто. В автобусе двадцать, и они близко. А здесь, наверху, никого нет. Только приёмщик, у него пусто.

— А внизу? В четвёртом секторе?

— Внизу они не в людях, — сказала Зоя. — Когда в людях, они спят. А когда лежат сами по себе — не спят.

Она поднялась ещё на две ступеньки.

— Вы поэтому подошли к тому окну, — сказала она.

Я не говорил ей ни про какое окно.

* * *

Айна ждала меня наверху, у выхода.

Без кителя. В том же тёмном пальто, что в первый вечер. Волосы мокрые — значит, стояла под дождём, а не под козырьком.

— Сорок две минуты, — сказала она.

— Вы опять считали.

— Я приехала за девятнадцать минут до того, как ты вошёл. Я знала, что ты придёшь сюда.

Она перешла на «ты» и не заметила этого. Или заметила.

— Ты не приехал по адресу.

— Не приехал.

— Почему?

— Ко мне пришли с собакой.

— Обыск закончился в десять сорок. У тебя было двадцать минут.

Она не злилась. Голос был ровный, как всегда, и это было хуже злости.

— Поднимемся, — сказала она.

— Куда?

— Наверх. Здесь камеры.

* * *

На крышу хранилища ведёт наружная лестница по торцу здания.

Мы поднимались молча, под дождём, металл был скользкий. Наверху ветер шёл ровно, без порывов, и весь город лежал внизу серыми квадратами, с редкими окнами.

Крыша была плоская, засыпанная гравием, с лужами в каждой впадине. Между вентиляционными коробами стояла вода — большая, спокойная, шириной метра в три.

Айна остановилась у её края.

— Сегодня в шестнадцать двадцать в списки Бюро внесли новую позицию, — сказала она. — Категория «носитель без лицензии, подозрение на чувствительность». Пол женский, возраст девятнадцать, место обнаружения — это здание.

Я стоял и смотрел на воду.

— Через два дня, максимум три, за ней приедут. Не с собакой и не с ордером. Таких забирают без бумаг. Их не существует в системе, значит, их можно не оформлять.

— Куда забирают?

— На проверку.

— Что это значит?

— Это значит, что её проверят, — сказала Айна. — Я не знаю, что там дальше. Я знаю только, что оттуда в общий график никто не возвращается.

— Вы инспектор. У вас доступ к спискам. Как это может быть, что вы не знаете?

— У меня доступ к спискам. Не к тому, что после списков.

Она смотрела вниз, на город.

— В прошлом году через категорию «подозрение на чувствительность» прошло девять человек. Я подавала запрос по всем девяти. По четверым пришёл ответ «данные закрыты», по трём — «сведений не имеется». По двум ответа не было вообще.

— А по остальным?

— Это и есть все.

Дождь шёл ровно. Лужа под ногами дрожала мелко и часто.

* * *

— Я могу снять её из списка, — сказала Айна. — У меня есть доступ. Одна строка, полторы минуты.

— Сделайте.

— Сделаю. — Она повернулась ко мне. — Завтра в одиннадцать по адресу, который я присылала. Ты приезжаешь, смотришь и делаешь то, что я скажу. Один раз.

— Что именно?

— Скажу на месте.

— Нет.

— Это не торг.

— Это торг, — сказал я. — Вы просто уже назначили цену.

* * *

Она молчала секунд десять.

Потом сказала:

— Она к тебе прикасалась?

Я не ответил.

— Она к тебе прикасалась, — повторила Айна. Не вопросом. — Поэтому ты пришёл сюда второй раз за два дня. Не за инструментом. Не по работе.

— Какая разница.

— Никакой, — сказала она. — Просто отмечаю.

Она отвернулась к городу.

— Я держала руку над водой двадцать секунд, — сказала она. — Двадцать. Я считала. Ты выдержал восемнадцать и схватил меня.

Пауза.

— Ей хватило полутора.

— Это не соревнование.

— Я знаю, что это не соревнование.

Она сказала это резче, чем всё, что говорила до этого. И сразу, будто услышав себя со стороны, поправила воротник. Дважды, хотя он лежал ровно.

— Мне тридцать два раза стирали память, — сказала она, глядя вниз, на квадраты домов. — Я не помню, как выглядела моя мать. Я не помню, был ли у меня в детстве кто-то, кто просто взял бы меня за руку. Возможно, был. Возможно, я его стёрла вместе со всем остальным.

Ветер шёл ровно.

— Так что нет. Я не ревную. Мне нечем.

* * *

Я подошёл к луже.
Не знаю зачем. Может быть, чтобы не стоять рядом с ней.
Вода была тёмная и почти неподвижная, дождь шёл слишком мелкий, чтобы её рябить.
Свет от прожектора на соседнем здании падал сбоку.
Я посмотрел вниз.
Отражение стояло ровно, чётко, только слегка размытое по краям.
Оно улыбалось.
Не усмехалось. Улыбалось спокойно и полно, как улыбается человек, которому только что сказали хорошую новость.
Я стоял с лицом, на котором не было ничего.
Я поднял руку и потрогал свой рот.
Отражение не подняло руки.
Оно улыбнулось шире.
Губы у него разошлись так, как мои губы не расходятся. Я знаю предел собственной мимики, я вижу его каждое утро в зеркале, когда проверяю, не порезался ли. Лицо в воде улыбалось за этим пределом — свободно, легко, как улыбается человек, которому хорошо.
У меня не бывало такого лица никогда. Ни разу за тридцать шесть лет.
И вот оно смотрело на меня снизу, из тёмной воды, и радовалось чему-то, чего я не знал.
Потом дождь усилился, поверхность пошла кругами, и всё стало обычным.
— Ты идёшь? — сказала Айна за спиной.
— Иду.

* * *

Я догнал её у лестницы.
— Я не приеду завтра, — сказал я.
Она остановилась.
— Тогда она останется в списке.
— Я знаю.
— Ты понимаешь, что через два дня...
— Понимаю.
— Тогда объясни.
Дождь шёл по её лицу, и она не вытирала.
— Вы снимете её из списка в любом случае, — сказал я. — Не ради неё. Ради того, чтобы я знал, что вы можете. А я приеду завтра или послезавтра, потому что мне некуда деваться, и вы это знаете лучше меня. Но приеду сам. Не за неё. Иначе это будет уже не сделка, а поводок.
Айна долго на меня смотрела.
— Ты понял это только что? — спросила она.
— Только что.
— Плохо, — сказала она. — Это надо было понимать восемь лет назад.
Она пошла вниз.
На середине лестницы обернулась.
— Я сниму её из списка сегодня. И, Лео. Не приходи сюда третий раз.

— Почему?

— Потому что за тобой ходят те же двое.

* * *

Я вернулся домой в двенадцатом часу.

Рыбы стояли в середине аквариума. Я не стал включать свет.

На лестничной клетке, этажом ниже, кто-то курил. Я слышал это через дверь: щелчок зажигалки, потом долгая тишина, потом ещё щелчок. Человек не докурил и прикурил заново.

В нашем подъезде не курят. Здесь три квартиры на этаж, все с маленькими детьми, и за это скандалят так, что проще выйти на улицу.

Я не стал смотреть в глазок.

Сел на пол, спиной к тумбе, и просидел так, наверное, час.

* * *

За восемь лет я ни разу ничего не выбирал. Заказ приходит, ты едешь. Смена кончается, ты сдаёшь кейс. Выбор — это когда ты можешь ошибиться и потом с этим жить, а у меня не было ни того, ни другого.

Сегодня я выбрал.

И теперь надо было признать, из-за чего именно.

Не из-за девятнадцатилетней уборщицы, которую я видел дважды. Не из-за списка. Не из-за принципа.

Из-за того, что, если я приеду завтра ради неё, я узнаю, чего я стою, когда человек зависит от меня.

Я двадцать восемь лет не отвечаю на этот вопрос.

Один раз ответ уже был. Я стоял и смотрел.

Я не помню, на что смотрел. Мне восемь лет, вода, и дальше провал. Но тело помнит вместо меня: каждый раз, когда человек начинает от меня зависеть, у меня немеют кисти и я перестаю смотреть в лицо. Так тело ведёт себя только в одном случае — когда оно уже раз ошиблось и не хочет ошибиться снова.

Значит, я тогда сделал что-то, за что кисти немеют двадцать восемь лет.

* * *

Пусть лучше во мне будет пусто.

Пустой — это неприятно, но это не приговор. А трус — это уже про меня, и это навсегда.

Я знаю, где вода.

Я просто не хочу видеть, что я делаю, когда она поднимается.

Глава 6. Брат

Дверь открылась, когда я был на четвёртой ступеньке снизу.

Не после звонка. До.

Лифт в доме есть, но он гудит, и по гулу в шахте слышно, на каком этаже он встал. Я шёл пешком. Айна открыла на звук шагов и стояла в проёме, пока я доходил.

— Одиннадцать ноль четыре, — сказала она.

— Пробки.

— Пешком быстрее.

Она посторонилась.

* * *

Адрес привёл меня в жилой дом.

Обычная девятиэтажка на южной стороне: домофон с оторванной трубкой, коляска под лестницей, пахнет чужим супом. Пятый этаж, квартира тридцать один. Полдороги я ждал, что будет склад, ангар за путями, подвал с отдельным входом. Оказалась квартира.

По дороге я дважды проверился, как она велела. На перекрёстке зашёл в магазин и вышел через вторую дверь. У сквера остановился завязать шнурок, которого не надо было завязывать.

Никого.

Это было хуже, чем если бы кто-то был. Когда человека видишь, он один. Когда не видишь, их может быть сколько угодно.

* * *

Внутри было пусто.

Стол, два стула, кровать без спинки, на подоконнике электрический чайник. Ни книг, ни посуды в раковине, ни занавесок. В прихожей одна пара обуви — та, в которой она ходит. Дверца шкафа была приоткрыта, и там висела сумка. Одна. Собранная, с застёгнутыми молниями.

Так выглядит жильё человека, который может уехать за четыре минуты.

— Ты здесь живёшь?

— Иногда.

— А остальное время?

— В других местах.

Она щёлкнула чайником. Достала две кружки, одинаковые, дешёвые, из тех, что продают наборами по шесть.

— Строку я сняла вчера, в двадцать три сорок, — сказала она. — Утром проверила: не восстановили.

— Спасибо.

— Не благодари. Через месяц внесут снова, и не факт, что я это увижу.

— А она знает?

— Нет. И не должна. Человек, который знает, что его сняли из списка, начинает вести себя как человек, которого сняли из списка. Это видно за квартал.

* * *

Мы сели.

Она залила кипятком, бросила по пакету, и мы ждали, пока заварится. Полторы минуты никто ничего не говорил. За стеной у соседей работал телевизор, слов было не разобрать.

Самая обыкновенная минута за всю неделю.

— Ты хотел знать, что я собиралась показать, — сказала Айна.

— Хотел.

— Я передумала.

— Почему?

Она вынула пакетик, отжала ложкой, положила на блюдце.

— Потому что вчера ты отказался ехать ради уборщицы. Правильно отказался. Если я тебя туда привезу, ты решишь, что это часть сделки, и всё, что увидишь, запишешь мне в давление.

— А вместо?

— Расскажу сама. Тогда у тебя будет только моё слово, и ты сам решишь, сколько оно стоит.

— А если я решу, что нисколько?

— Значит, нисколько, — сказала она. — Я тебя не уговариваю. Я тебе сообщаю.

Она обхватила кружку двумя ладонями.

Айна держит руки на виду и неподвижно. За неделю я видел два исключения: пальцы, сжатые до белого, в коридоре Бюро, и воротник, который она поправила дважды подряд.

Сейчас она держала кружку, и по чаю шла мелкая частая рябь.

— Его зовут Феликс, — сказала она.

* * *

— Ему пятьдесят. Мне двадцать девять. Разница двадцать один год: я поздняя, незапланированная, мать рожала в сорок три.

Короткими блоками, как читают показания.

— Дом сгорел, когда мне было три. Пожара я не помню. Я знаю о нём, потому что мне рассказали. Рассказал он.

— А мать?

— Мать оттуда не вышла.

Рябь шла ровная и частая.

— Феликсу было двадцать четыре. Он вынес меня и не вернулся за ней. Говорит, что не смог: дверь, перекрытие, дым. Версию я знаю наизусть, я слышала её раз двести. В ней всегда одно и то же количество шагов до кухни. Семь.

— Вы ему не верите?

— Я не знаю. Мне было три года. Своих воспоминаний об этом у меня нет. Есть только его.

Она подняла глаза.

— Это, кстати, точное описание всей моей жизни.

* * *

— В десять лет он отдал меня на процедуру.

— Какую?

— Тогда это не называлось процедурой. Тогда это называлось «посмотреть, что получится». Индустрии не было. Были двое учёных, подвал и шестеро детей.

— Шестеро.

— Шестеро. Первое извлечение мне сделали в десять лет и четыре месяца. Вынули память о матери. Не боль о матери — саму память. Отделять одно от другого тогда не умели, брали куском.

— Зачем?

— Он объяснял так: ребёнок, который не помнит, вырастет здоровым. Это звучало логично. Это до сих пор звучит логично, и вот это самое неприятное.

Я молчал.

— Через восемь месяцев второе. Дальше чаще. Всего тридцать два раза за девятнадцать лет. Последнее — полгода назад, в двадцать девять.

— Полгода?

— Да.

— Вас водили?

— Первые двенадцать раз водили.

Она сцепила пальцы и убрала руки под стол. За неделю я впервые не видел её кистей.

— Следующие двадцать я приходила сама.

* * *

— Зачем?

— Потому что без этого не спится.

Она сказала это тем же голосом, каким говорила про чайник.

— Каждый раз, когда я узнавала то, чего мне знать не полагалось — про подвал, про детей, про то, где он берёт материал, — я приходила и просила снять. И потом недели две спала как человек. Потом возвращалось. Не память. Ощущение, что чего-то нет. И я снова начинала искать, снова находила и снова приходила.

— Тридцать два раза.

— Тридцать два. Это не он меня сломал, Лео. Это я к нему ходила. Он ни разу не отказал.

Ждать продолжения было бессмысленно. Она сказала ровно столько, сколько собиралась, и остановилась.

* * *

Она встала и выдвинула верхний ящик стола.

Достала прибор — плоский, с ладонь, серый корпус, одна кнопка сбоку и решётка на торце. Сканер. Не бюровский, старой серии, у нас такими не пользуются лет пять.

Положила на стол и подвинула ко мне пальцем. В руки не дала.

— Что это?

— То, чем проверяют человека на носительство.

— Меня?

— Кого хочешь.

Прибор лежал между кружкой и краем стола, чуть косо. Я на него посмотрел. И всё.

— Не сейчас, — сказала Айна и убрала руку. — Я и не рассчитывала, что сейчас. Пусть лежит. Ты знаешь, где он.

Обратно в ящик она его не положила.

* * *

— Слушай, что он делает. Повторять не буду.

— Слушаю.

— Официально Феликс коллекционер. Частное хранилище, лицензия на культурное собрание, всё чисто. Покупает кристаллы у частных лиц — это законно, если извлечено с согласия и оформлено.

— И?

— И он их не хранит. Он их вживляет.

— Кому?

— Себе.

Я поставил кружку.

— Больше двух в одном человеке не держится. Третий выталкивает первые. Методичка, страница шестьдесят.

— В методичке написано про обычного человека.

— А он?

— А он ходит с двенадцатью. Я считала. В последний раз, когда видела его вблизи, было двенадцать.

* * *

Кристалл нельзя разбить.

Это первое, что проверяет каждый новичок, и никто потом не признаётся. Берёшь списанный образец, кладёшь на бетон, бьёшь молотком. Молоток отскакивает. Их не берёт удар, не берёт огонь, не берёт кислота. Единственный способ уничтожить кристалл — вживить его в живого человека и дожидаться, пока человек умрёт. Тогда камень сплавляется с тканью и перестаёт быть.

Один кристалл — одна жизнь. Другой цены нет.

Я узнал это на втором месяце работы и восемь лет держал за техническую справку.

Это не техническая справка. Это единственная вещь на свете, которую нельзя уничтожить, не убив человека. Всё остальное вокруг можно сжечь, растворить, раздавить, забыть. Чужую боль, вынутую и уложенную в камень, — нельзя. Она переживёт того, у кого её взяли,

переживёт того, кто её вёз, переживёт хранилище и город. Мы возим по улицам самую прочную вещь в мире и оформляем её как груз первой категории за четыре тысячи двести.

— Он считает, что это работает и в обратную сторону, — сказала Айна. — Камень умирает только вместе с носителем. Значит, если носитель наберёт в себя достаточно того, что умереть не может, он тоже перестанет.

— Это бред.

— Может быть.

Она отошла к подоконнику и посмотрела вниз, во двор. Смотрела секунд пять, не дольше.

— Ему пятьдесят, — сказала она, не оборачиваясь. — Выглядит на тридцать пять. Я не говорю, что это доказательство. Я говорю, что вижу это двадцать шесть лет.

За стеной у соседей засмеялись. Телевизор.

* * *

— Есть проблема, — сказала она. — Обычный человек чужое не носит, организм выталкивает. Феликс может, потому что готовил себя тридцать лет. И потому что первые попытки делал не на себе.

— На ком?

— В подвале было шестеро детей. Что стало с одной, я знаю. Со мной.

— А пятеро?

— Двое умерли в первый год. Их списали как отказ оборудования. Оборудования тогда, считай, не было.

— Трое?

— Трое работают. В индустрии.

— Носителями?

— Одна из троих — да.

— Кто?

— Не скажу.

— Почему?

— Потому что она сама не знает. У неё это вынута. Она думает, что пришла в профессию по объявлению.

Айна провела ладонью по столу, будто смахивала крошки. Крошек не было.

— Так и делают, — сказала она. — Не прячут человека. Прячут от человека его самого. Он ходит на работу, платит за квартиру и ни о чём не догадывается, потому что догадываться нечем.

— Это можно проверить.

— Можно, — сказала она и посмотрела на прибор, лежащий между ними. — Вот этим.

— И почему она не проверила?

— А зачем ей? Ты восемь лет живёшь с флаконом под корягой. У тебя сканер есть?

Я не ответил.

— Вот и она не проверяла.

* * *

— Уборщица, — сказал я.

Айна посмотрела на меня, и ей впервые за весь разговор понадобилась пауза не для того, чтобы решить, говорить или нет.

— Считай, — сказала она. — Первое мне сделали в десять. Девятнадцать лет назад. В подвале сидели дети примерно моего возраста, младшему было восемь. Твоей уборщице сколько?

— Девятнадцать.

— Значит, тогда её ещё не было на свете.

— Тогда откуда она...

— Не знаю, — сказала Айна. — И это единственное место за сегодня, где я говорю тебе «не знаю» честно. Всё остальное я знаю и просто рассказываю не всё.

* * *

Айна достала телефон, нашла что-то и положила экраном вверх. Опять не в руки: положила и подвинула пальцем.

Мужчина боком, у входа в галерею. Светлая рубашка без пиджака, седой, лет пятидесяти. Снято издалека и снизу, край кадра смазан. Лицо обыкновенное — такое встречаешь в очереди и через минуту забываешь.

— Запоминай не лицо, — сказала она. — Лицо ты потеряешь. Смотри, как он стоит.

Он стоял ровно. Руки опущены вдоль тела, кисти расслаблены. Не в карманах, не сцеплены, ничего не держат и ни за что не взялись. Так стоят люди, которым нечего делать с руками, потому что им ничего не нужно.

Я видел много рук. Такие — второй раз в жизни. Первый был у клиентки в квартире сорок семь, за секунду до того, как она выхватила кристалл.

Айна смахнула фотографию.

Появилась вторая.

* * *

Старая, отсканированная, с загнутым уголком.

Девочка лет десяти у стены. Тёмные волосы, две косички, ровный пробор. Клетчатое платье.

Я долго не мог понять, что с этим лицом не так, и наконец понял.

Оно было в порядке. Всё было в порядке: правильные черты, чистая кожа, выглаженный воротничок. Косички заплетены туго и красиво — кто-то сидел сзади и старался, чтобы вышло ровно. Платье выстирано. Всё вокруг говорило, что о девочке заботятся, что её собирали в то утро внимательные руки.

И посреди этой заботы — глаза.

Глаза были на месте, светлые, широко открытые, и в них не было ничего. Не пустой взгляд человека, который задумался. Не усталость. Там не было того, что делает лицо лицом. Так смотрит фотография в документе.

Такое я видел один раз. Позавчера, на полу в квартире сорок семь, через минуту после того, как кристалл вошёл обратно.

Разница была в косичках.

Ту женщину никто не причёсывал. А эту девочку каждое утро одевали, заплетали, выглаживали ей воротник и вели за руку — и продолжали делать это после. Восемь лет я вожу по городу то, что из людей вынимают. Я ни разу не видел, что остаётся, если вынутаго человека потом расчёсывают на пробор.

— Это вы?

— Это я. Через месяц после четвёртого.

Она забрала телефон и убрала в карман, не глядя на экран.

— Их обычно не фотографируют, — сказала она. — Это осталось случайно.

* * *

— Почему вы не пошли в Бюро?

— Ходила.

— И?

— Мне дали должность.

Она усмехнулась — коротко, без веселья. Первый раз за неделю.

— Пришла с заявлением в двадцать четыре года. Меня выслушали, всё записали. Через две недели предложили место инспектора с допуском к спискам. Оклад, служебное жильё, никаких вопросов о происхождении.

— Взятка.

— Умнее. Взятку можно вернуть. А допуском ты пять лет как пользуешься, он тебе нужен, и никуда ты уже не пойдёшь: без должности ты слепая, с должностью ты часть.

Она посмотрела на свои руки.

— Вчера я сняла твою уборщицу из списка. Использовала допуск. Понимаешь, как устроено? Каждый раз, когда я делаю что-то хорошее, я делаю это их инструментом. И становлюсь чуть больше их.

* * *

— Чего вы хотите от меня?

— Ты последний, кто ходит в четвёртый сектор один.

— И?

— И у тебя лучшая статистика в городе, и ты никому не интересен, и за восемь лет ты ни разу ничего не спросил.

— Это не ответ.

— Это ответ. Мне нужен человек, которого пустят туда, куда не пустят меня, и который не станет разбираться зачем.

— А потом?

— А потом я заберу у него то, что он вживил. Всё.

— Двенадцать.

— Двенадцать.

— Он умрёт.

— Да, — сказала Айна.

Без нажима, ровно, тем же голосом, что и всё остальное.

За неделю я не слышал от этой женщины ни одного слова, в котором был бы виден человек. Кроме двух: «мне нечем ревновать» и «я приходила сама».

— Почему вы не сделаете это сами?

Второй раз я задаю ей этот вопрос.

* * *

Она молчала долго.

За стеной переключили канал, и там стали говорить про погоду.

— Ты видел фотографию, — сказала она наконец.

— Видел.

— Мне на ней десять. Я не помню, кто снимал. Не помню платье. Не помню стену, у которой стою. Ничего.

Она подняла глаза.

— Но я помню, что косички мне заплёл он. В то утро. Он всегда их заплетал, потому что мать не вышла из дома, а больше было некому. Садился сзади, брал прядь и говорил: «Не дёргайся».

Голос не изменился ни на полтона.

— Тридцать два раза я приходила и просила вынуть. Тридцать два раза это оставалось.

Она встала и понесла кружки в раковину.

— Вот поэтому.

Вода шла долго. Две кружки моют быстрее.

— Одна поправка, — сказала она, не оборачиваясь. — Я не боюсь, что не смогу. Я боюсь, что смогу.

— Не понял.

— Двадцать шесть лет я прихожу к нему сама. Каждый раз иду с мыслью, что вот теперь. И каждый раз сажусь, и он говорит «не дёргайся», и я не дёргаюсь.

Она закрыла кран. Вытерла руки, повесила полотенце ровно, взяв за середину.

— С тобой у меня есть шанс, — сказала Айна. — Не потому, что ты сильнее. Потому что ты не станешь садиться.

* * *

Сканер так и лежал на столе, когда я уходил. Она не предложила его взять, и я не взял.

Я шёл домой пешком.

За восемь лет мне много чего про меня говорили: лучший, удобный, невидимый, ни одного замечания за смену. Ни разу — что на меня есть шанс. Шанс бывает на тех, кто ещё может всё испортить. Значит, она видит во мне что-то живое.

И собирается это потратить.

Глава 7. Гость

Носитель обязан сообщать о любом предложении частной перевозки.

В течение двадцати четырёх часов, письменно, с указанием суммы. Лицензионное соглашение, пункт девять.

Нам объясняли, что предложения будут. Что приходят они всегда одинаково: сначала вежливо, потом с цифрой, потом с адресом человека, которого ты любишь.

Инструктор на курсе сказал: до третьего этапа доходит редко. Почти все соглашаются на втором.

Я тогда подумал, что у меня нет никого, чей адрес можно назвать.

Восемь лет это было правдой.

* * *

От Айны я поехал на смену.

Два заказа. Первый штатный: женщина сорока лет, развод, вес четыре и один, утрата. Расписалась, не читая, спросила только, останется ли шрам. Второй — мужчина, старше меня, отдавал что-то на девять и шесть. По регламенту я не имею права спрашивать, что именно, и не спрашиваю.

Он спросил сам.

— Это больно? — сказал он, когда я разложил кейс.

— Нет.

— А потом?

— Потом тоже нет.

— Тогда почему у вас такое лицо?

Я не стал отвечать. Экстрактор коснулся кожи под ключицей, он закрыл глаза, и через сорок секунд всё было готово. Он сел, потрогал розовую полосу и сказал, что ему хорошо. Все так говорят.

Дождь начался в четвёртом часу и к вечеру не кончился.

Я закрыл смену, сдал кейс и весь путь домой думал не о нём и не о ней, а о плоском сером приборе, который остался лежать на чужом столе, чуть косо, между кружкой и краем.

* * *

Свет в подъезде горел.

Он включается от датчика и держится сорок секунд. К моему этажу обычно успевает погаснуть, и последний пролёт я иду в темноте, по памяти, потому что знаю, где выщерблена третья ступенька.

Я поднялся на четвёртый, и на площадке было светло.

Дверь квартиры напротив была приоткрыта.

Там живёт Дора. Семьдесят с чем-то, одна, кошка, палка. Мы здороваемся восемь лет, и за восемь лет она задала мне ровно один вопрос — про сроки замены труб.

Дверь никогда не бывает открыта.

Я постоял секунд десять.
Потом толкнул её.

* * *

Она сидела в кресле у окна.

Живая. В халате, в очках, с пультом на подлокотнике. Телевизор был выключен. Кошка лежала у неё на коленях, и Дора гладила её ровными медленными движениями, от загривка вниз.

Второй человек сидел на стуле у стола.

Лицо я не узнал. Обычное лицо, седой, лет пятидесяти, светлая рубашка без пиджака — такое встречаешь в очереди и через минуту забываешь.

Я узнал посадку.

Руки лежали на столе свободно, ладонями вниз, не держали ничего и ни за что не собирались взяться. Ни колец, ни часов, ни белой полосы от часов. Утром я видел эту постановку кистей на фотографии, снятой издали, у входа в галерею.

Перед ним стояла чашка.

— Проходите, — сказал он. — Мы вас ждали.

— Дора, вы в порядке?

— Да, Эмиль, — сказала она. — Мы чай пьём. Это твой начальник?

Она смотрела на меня поверх очков, спокойно и чуть смущённо, как смотрят пожилые люди, когда в доме гость, а угостить нечем.

— Нет, — сказал я.

— А он сказал, что с работы.

— Я сказал, что по работе, — поправил Феликс. — Это разные вещи. Я стараюсь говорить точно.

* * *

Я остался в дверях.

Он не угрожал. В руках у него была чашка. Дверь за моей спиной открыта, лестница пустая, телефон в кармане.

Уйти я мог.

Не ушёл.

— Садитесь, — сказал Феликс. — Дора, вы позволите нам поговорить? Хотя нет, не уходите. Вы у себя дома.

— Я не мешаю, — сказала она.

— Вы не мешаете.

Он отпил чай и поставил чашку так, чтобы ручка смотрела вправо.

Обычно рука выдаёт человека за четыре секунды. Она сжимается, когда врут, идёт к карману, когда боятся, застывает, когда решили и ещё не сказали. Я читаю это, как читают вывеску, и восемь лет мне этого хватало на всех.

Руки Феликса не говорили ничего.

Не потому, что он их держал. У Бориса руки тоже молчат, но там это похоже на пустую графу в бланке. Здесь — на закрытую дверь, за которой что-то очень большое, и наружу не проходит ни звука.

— Вам сказали, что я смотрю на руки, — произнёс я.

— Сказали.

Он развернул ладони вверх и положил на стол, как кладут на досмотре.

— Смотрите сколько хотите, — сказал Феликс. — Это единственное место, где у меня ничего нет.

* * *

— Что вам нужно?

— Купить у вас одну вещь.

— Я не продаю.

— Вы даже не спросили какую.

— Я знаю какую.

— Тогда вы знаете и цену. — Он подумал. — Нет. Цену вы не знаете, я её пока не называл.

— Назовите.

— Не назову, — сказал Феликс. — Если я произнесу цифру, вы начнёте её с чем-нибудь сравнивать: с окладом, с квартирой, с тем, сколько стоит человек. Мне не нужно, чтобы вы сравнивали. Мне нужно, чтобы вы решали.

— Почему именно моя?

— Хороший вопрос, вы его задали на восемь лет позже, чем следовало. — Он повернул чашку. — Всё, что лежит в обоих хранилищах, оформлено. У всего есть бумага, вес, дата и подпись. У вашей вещи нет ничего. Её вынули из живого человека восемь лет назад и оставили этому же человеку на руках. Так не делают, носитель. Никогда и ни с кем.

— И?

— И мне интересно, кто это сделал и зачем, — сказал Феликс. — Я готов заплатить за ответ. Заметьте: не за вещь. За ответ.

Он посмотрел на Дору.

— У вас очень хорошая соседка. Мы говорили сорок минут. Она рассказала про мужа, про сына, который в другом городе и звонит по воскресеньям, и про то, что вы всегда придерживаете ей дверь, когда она с сумками.

— Придерживает, — подтвердила Дора. — Всегда.

— Редкость, — сказал Феликс. — А знаете, что интересно? Она не помнит, как вас зовут. Восемь лет называет вас Эмилем. Переспросить неловко: срок вышел.

Он повернулся ко мне.

— Эмил — это ведь не вы. Эмил жил здесь до вас. Уехал в спешке, оставил мебель и рыб.

— Оставил.

— Восемь лет, — сказал Феликс. — Придерживаете дверь, кормите чужих рыб и отзываетесь на чужое имя. И ни разу не поправили.

* * *

— Уйдите отсюда.

— Обязательно. Уйду через десять минут, и вы меня больше не увидите. Если договоримся.

— А если нет?

— Тоже уйду.

Тем же голосом.

— Вы ждёте угрозы, — сказал он. — Не будет. Заложников я не беру, это дурная практика: человек, который согласился под давлением, потом всю дорогу ищет, как отыграть назад. Мне нужно, чтобы вы согласились сами.

— Тогда зачем вы здесь?

— Чтобы вы поняли, что я могу здесь быть.

Он показал на комнату: на кресло, на кошку, на пульт.

— Мне не нужно ничего с ней делать. Достаточно было прийти, представиться и выпить чаю. Дальше вы работаете сами. Каждый вечер, поднимаясь по лестнице, вы будете смотреть на эту дверь. Я ничего не обещал и ничем не грозил — поэтому вы не сможете перестать.

Дора гладила кошку.

— Хороший вы человек, — сказала она ему. — Внимательный.

* * *

Он достал из кармана футляр.

Плоский, чёрный, размером с портсигар. Открыл и повернул ко мне.

Внутри, в углублении, лежал кристалл.

Крупный. Больше того, что я извлёк в квартире сорок семь. Огранённый — я никогда не видел огранённых, их не гранят, это бессмысленно, форму задаёт содержимое.

Он был совершенно прозрачный.

Внутри не двигалось ничего.

— Что это?

— Пустой, — сказал Феликс.

— Так не бывает.

— Бывает. Это первое, что я купил. Двадцать шесть лет назад, у частного лица, за очень большие деньги. Мне сказали: тяжёлая утрата, вес одиннадцать. Я привёз домой, поставил сканер и увидел ноль.

Он не закрыл футляр. Оставил открытым на столе, между нами, и я всё время разговора видел эту прозрачную штуку боковым зрением.

— Подделка?

— Настоящий. Просто пустой. Один случай на несколько тысяч: извлечение проходит правильно, кристалл формируется, а внутри ничего. Человек приносит то, что двадцать лет называл своим горем, и там пусто.

— И где тогда горе?

— Нигде, — сказал Феликс. — Его не было. Он его придумал и всю жизнь носил как настоящее. И знаете, что самое интересное? Ему стало легче. Так же, как всем. Даже больше, чем всем.

Он закрыл футляр и убрал в наружный карман плаща, висевшего на спинке стула.

— С тех пор я собираю, — сказал он. — Не боль. Боль мне не нужна, своей хватает. Я собираю ответы на один вопрос: чем именно оказывается человек, когда из него всё вынули.

* * *

Он посмотрел на Дору.

— Скажите, вам её жалко?

Я не ответил.

— Жалко, — сказал он. — И вы считаете, что это в вас хорошее.

— Это не обсуждается.

— Обсуждается. — Он поправил чашку на блюде. — Жалость возможна только сверху вниз. Вы не жалеете того, кого считаете сильнее себя, — вы ему завидуете или его боитесь. Жалеют всегда того, кто ниже. Поэтому жалость приятна: она бесплатно сообщает вам, что вы устояли, а он нет.

— Неправда.

— Проверьте. Вспомните, когда вы в последний раз кого-нибудь пожалели, и посмотрите, стало ли вам от этого хуже.

Я вспомнил.

Женщина на полу в квартире сорок семь. Я стоял над ней и думал об объяснительной.

— Что вы делали в ту минуту? — спросил Феликс.

— Смотрел.

— Неправда. Смотреть — это ничего. Вы что-то делали руками.

Я вспомнил и это. Я закрывал кейс. Она лежала, а я защёлкивал замки, оба, по очереди, потому что кейс с открытыми замками нельзя нести.

— Вот видите, — сказал Феликс, хотя вслух я ничего не сказал. — Не расстраивайтесь. Это не делает вас плохим. Это делает вас человеком, который наконец посмотрел.

* * *

Он встал.

— Ваша вещь лежит у вас дома, в аквариуме, под корягой, в стеклянном флаконе из-под глазных капель. Я предлагаю за неё сумму, которую вы не заработаете за одиннадцать лет. Плюс закрытие вашего дела о вчерашней утрате. Оно открыто, вам просто не сказали.

— Оно закрыто.

— Переоформлено, — сказал Феликс. — Двенадцатое закрыли по естественным. В понедельник открыли тринадцатое, и там уже другая формулировка. Позвоните Борису и спросите. Врать он не станет, ему не для чего.

Он снял плащ со спинки.

— Ещё одно. — Он не глядя проверил ладонью карман с футляром. — Она показала вам вторую фотографию? Девочка у стены, косички, клетчатое платье.

— Показала.

— Я её снимал, — сказал Феликс. — Утром, перед выходом. Она этого не помнит, поэтому всегда говорит «осталось случайно». Не поправляйте её. Ей так удобнее, и мне так удобнее, и вам будет удобнее.

Он застегнул одну пуговицу и остановился.

— И последнее. Не сканируйте свою вещь сами. Вы восемь лет не сканировали, и это было правильно.

— Почему?

— Потому что некоторые вещи работают, только пока вы не знаете, что там, — сказал Феликс. — Как только узнаете, у вас появится мнение. А с мнением жить гораздо тяжелее.

* * *

— Он у тебя строгий? — спросила Дора.

Она спрашивала меня и смотрела на него.

— Он мне не начальник.

— А кем ты работаешь, Эмиль? Ты возишь что-то?

— Вожу.

— Вот и я говорю, — сказала она удовлетворённо. — Хорошая работа. На воздухе.

Феликс слушал это с интересом, как слушают чужой разговор в очереди.

— Восемь лет, — сказал он мне тихо. — И даже это.

* * *

Он попрощался с Дорой.

Наклонился, поблагодарил за чай, сказал отдельно что-то про кошку, и Дора засмеялась. Я стоял и слушал, как смеётся моя соседка.

Потом он взял плащ и стал надевать.

Плащ был длинный, тёмный и тяжёлый от воды — на улице шёл дождь с обеда. Феликс надел его одной рукой, второй придерживая полу, и в этот момент дверь пошла закрываться: у Доры сильная пружина, поставили от сквозняка.

Я придержал дверь.

Я всегда придерживаю ей дверь. Восемь лет, четыре раза в день, не думая.

Он прошёл мимо меня в проём.

Полы качнулись, и наружный карман оказался у самой моей ладони, той, что держала дверь.

Рука сделала это сама, раньше меня.

Она скользнула в карман, взяла плоское и тёплое, что лежало сверху, и вернулась на дверь, пока я смотрел ему в район переносицы и слушал, что он говорит.

Он не заметил.

Он в это время говорил.

* * *

Он вышел на площадку. Я вышел следом и закрыл за собой дверь.

— Один вопрос.

— Да.

— Айна говорит, вы носите двенадцать.

— Одиннадцать, — сказал он. — Один вышел в апреле. Такое бывает, я к этому готов. Спокойно, как говорят о выпавшей пломбе.

— Она вам сказала, что я держу их ради бессмертия?

— Сказала.

— Она честно так думает. Ей было десять, когда я начал, и она объясняет это себе как может.

Он посмотрел вниз, в пролёт.

— Я не хочу жить вечно, — сказал он. — Я хочу перестать быть тем, кто вышел из дома один. Если разобраться, этого хотят все люди на свете. Просто у большинства нет инструмента.

— Сколько времени? — спросил я.

Он не потянулся к запястью. Не полез в карман за телефоном.

— Без двадцати пять, — сказал он.

Я посмотрел на свои.

Двадцать два ноль девять.

— У вас неточные, — сказал я.

— У меня их нет, — сказал Феликс. — Двадцать шесть лет.

* * *

Он спустился на пролёт и остановился.

— Насчёт вашей уборщицы.

Я не ответил.

— Её сняли из списка вчера в двадцать три сорок, — сказал Феликс, не оборачиваясь.

— Это сделала Айна, у неё есть допуск. Хорошая работа, всё чисто.

— И?

— И заявку на неё подавал я. В шестнадцать двадцать.

Он пошёл вниз.

— Думайте до пятницы, — сказал он снизу. — И передайте сестре, что я не сержусь.

* * *

Я вернулся к себе и не стал включать свет.

Сел на пол у аквариума, спиной к тумбе. За стеной у Доры заработал телевизор — она включила его сразу, как он ушёл, и громче обычного.

В её прихожей на стене висят часы. Я видел их только что, стоя в дверях, и заметил не тогда, а сейчас.

Круглые, дешёвые, белый циферблат.

Они стояли.

Без двадцати пять.

Я сидел и пытался вспомнить, шли они восемь лет или нет. Я прохожу мимо этой двери четыре раза в день.

Не помню.

* * *

Он не взял заложницу.

Он выпил чаю, узнал про сына, который звонит по воскресеньям, и ушёл. Теперь я буду смотреть на эту дверь каждый вечер. Он объяснил мне это вслух, при мне, — и это работает.

И цену он назвал не как угрозу. Он назвал её как цену.

Двадцать шесть лет он выясняет, чем становится человек, из которого всё вынули. Про меня он выяснил всё: где живу, что под корягой, какое дело в Бюро, как зовут соседку и что она не знает моего имени.

Не выяснил одного.

Что человек, у которого ничего не осталось, придерживает дверь не думая. Не из вежливости. Просто рука сама.

* * *

Я разжал кулак.

На ладони лежал прямоугольник белого пластика, тёплый от моей кожи. Без надписей, без логотипа, одна синяя полоса по краю.

Он купил себе четыре дня до пятницы и ушёл спокойно, потому что считает, что купил меня.

Он купил время.

А я — полторы секунды у чужой двери, и, кажется, этого хватит.

Глава 8. Ключ

Карта пролежала у меня два дня.

Я не прятал её. Она лежала в кармане куртки, вместе с мелочью и проездным, и каждый раз, когда я лез за монетой, пальцы натыкались на пластик.

Дважды я доходил до двери и разворачивался.

Первый раз — потому что не знал, что ишу. Второй — потому что понял, что знаю.

* * *

Хранилищ в городе два.

Про государственное знают все: длинное здание на северной окраине, лента, приёмщик, четыре сектора. Туда сдают, оттуда не забирают.

Про второе не знает почти никто, и это не тайна, а скука. Частное собрание, лицензия на культурное хранение, отчётность раз в год. Такие лицензии выдают коллекционерам марок и людям, которые держат дома чучела птиц.

Разница между хранилищами одна.

В государственном кристаллы лежат в гнёздах и ничего не делают.

Во втором с ними работают.

* * *

За два дня я сделал две вещи.

Позвонил в Бюро и попросил справку по своему делу. Девушка в трубке искала четыре минуты, потом сказала, что дело двенадцать закрыто по естественным причинам двадцать первого числа. Я спросил, есть ли по мне что-то ещё. Она сказала: «Есть открытое, номер тринадцать, но по нему пока нет данных». Я спросил, кто открыл. Она сказала, что эта графа закрыта для запросов от субъекта.

Вторая вещь была проще. Я взял с полки методичку и нашёл страницу сорок один — ту самую, про обратное вживание, которую я цитировал Борису.

Страницы сорок один в методичке нет.

Есть сороковая и сорок вторая. Ничего не вырвано, нумерация сплошная, просто сорок первой не существует.

На следующий день я взял методичку в раздевалке, чужую, с чужими пометками на полях.

Там между сороковой и сорок второй тоже ничего.

Я восемь лет цитирую по памяти страницу, которой нет ни в одном экземпляре.

* * *

В четверг я закрыл смену в четыре, доехал до промзоны на автобусе и вышел за две остановки. Дождя не было впервые за неделю. Небо стояло низкое и сухое.

Здание оказалось меньше, чем я думал. Двухэтажное, светлый кирпич, новые окна, подстриженный газон. На двери табличка: «Частное собрание. Посещение по записи».

Ни решётки, ни забора, ни камеры, которую я бы заметил.

Так выглядит место, которое никто не собирается грабить, потому что никто не знает, что там.

Я простоял у двери минуту.

За минуту мимо прошли двое: женщина с пакетом и парень на самокате. Ни один не посмотрел в мою сторону. В промзоне в шесть вечера человек у двери — это человек, который пришёл на работу или с работы, других вариантов нет.

Если карта не сработает, я поеду домой, и ничего не будет. Если сработает — я войду туда, где меня ждут: человек, у которого вынули из кармана пропуск, знает об этом на следующее утро. Прошло четыре дня. Он знает четыре дня.

Я приложил карту к считывателю.

Зелёный.

* * *

Внутри пахло новым линолеумом и чем-то слабым, сладковатым, как от нагретого пластика.

Коридор шёл прямо, освещённый через одну панель, дежурным светом. Слева двери с номерами, справа сплошная стена.

Я шёл и считал шаги, потому что надо было чем-то занять голову.

На тридцать втором заложило уши.

Так же, как в государственном, у окна четвёртого сектора: ровный низкий гул без источника, который слышишь не ушами, а костью за ухом.

Я отошёл на три шага назад.

Гул не кончился.

Здесь он был везде.

Дверь под номером два стояла приоткрытой. Я заглянул, не входя.

Кабинет. Кушетка, лампа на кронштейне, столик с бумажной салфеткой, на салфетке разложен инструмент — четыре предмета, ровно, по линейке, ручками в одну сторону. Экстрактор был старой модели, тяжёлый, из тех, которыми уже не пользуются, но которые до сих пор точнее новых.

Всё чистое. Салфетка свежая.

Здесь принимали. Не сегодня, но и не восемь лет назад.

* * *

Первая дверь без номера была с табличкой «Архив».

Я думал, будет сложнее. Замок обычный, механический, и не запёрт: в здании, куда попадают по карте, внутренние двери часто не запирают вообще.

Комната метров пятнадцать. Стеллажи от пола до потолка, папки, коробки. Ни компьютера, ни экрана.

Бумага.

Это остановило меня секунд на десять. Индустрия работает в цифре двадцать лет, базы связаны, любой заказ поднимается за минуту. Бумагу держат в одном случае: когда нужно, чтобы этого не было в базе.

На нижней полке у входа стояли коробки без подписей.

Шесть.

Я открыл крайнюю.

Внутри лежали детские вещи. Не игрушки — вещи: свитер, две пары носков, шапка с завязками, тапки двадцать восьмого размера. Всё выстирано, сложено, переложено бумагой, как складывают на долгое хранение.

К свитеру была приколот бирка с номером.

Номер три.

Я закрыл коробку и больше их не открывал. Но пересчитал ещё раз, потому что руки уже считали сами.

Шесть.

* * *

Я включил фонарь на телефоне и пошёл вдоль стеллажа.

Папки стояли по годам. Нужный ряд нашёлся быстро: двадцать шесть лет назад, самая нижняя полка, картон выцвел до серого.

Первая же папка с краю была подписана от руки.

Эксперимент № 1.

Я искал остальные.

Ряд был длинный, но папок в нём стояло мало, и это было видно по картону задней стенки: там, где годами стоит папка, картон остаётся тёмным, а вокруг выгорает. На полке рядом с первой темнело пять прямоугольников.

Пять пустых мест, ровных, одинаковой ширины.

Папок в них не было. Пыли в них тоже не было.

* * *

Внутри было тридцать два листа.

Я знаю, что тридцать два, потому что сосчитал потом. Тогда я просто открыл первый.

Типографский бланк с графами, заполненный синими чернилами, мелким аккуратным почерком.

Субъект: жен., 10 лет 4 мес.

Материал: память об утрате (мать).

Объём: полный.

Результат: извлечение состоялось. Субъект в сознании. Речь сохранена.

Примечание: субъект не узнаёт фотографию. Через 40 мин узнаёт снова. Через 3 ч не узнаёт устойчиво.

Я перевернул лист.

Второй бланк тот же, другая дата, восемь месяцев спустя.

Объём: полный.

Примечание: сопротивления нет. Субъект пришёл самостоятельно.

Дальше листы шли по годам, и почерк менялся четыре раза — люди приходили и уходили, а бланки оставались.

В самой нижней графе каждого бланка стояло «Присутствовал» и подпись.

Подпись не менялась ни разу. Одна и та же, все тридцать два листа, девятнадцать лет.

Одиннадцатый лист.

Субъект: жен., 15 лет.

Материал: память о брате.

Результат: извлечение не состоялось.

Примечание: материал не отделяется. Повторная попытка нецелесообразна.

И ниже, тем же почерком, без графы, просто на полях:

Держится крепче остального. Оставить.

Я стоял в чужом архиве с фонарём в руке и читал слово «оставить».

Тридцать два раза она приходила и просила вынуть.

Тридцать два раза ей выписывали бланк, брали что-нибудь другое и отпускали домой.

* * *

Я сфотографировал листы. Все.

Руки работали ровно: я снимал по одному, следил за резкостью и не думал. Потом закрыл папку и поставил на место, точно в тот же зазор.

И тогда увидел вторую.

Она лежала не в ряду, а сверху, поперёк, как кладут то, с чем работали последним. Тонкая, новая, картон белый.

Без надписи.

Я открыл.

Внутри лежала распечатка, сложенная вдвое. Не бланк — обычная офисная бумага, шрифт с экрана.

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА № 47

Дата: 12 марта. Место: Бюро чистоты, кабинет 4.

Субъект: носитель Лео, лицензия 412.

По существу заданных вопросов пояснил: кристалл первой категории, изъятый по заказу 411-7, был им сокрыт и вывезен с места проведения процедуры. Факт утраты носителя внесён в отчёт с целью сокрытия хищения.

Пояснения даны добровольно, без принуждения. С протоколом ознакомлен, замечаний не имеет.

Подпись субъекта: имеется.

Составил: Борис, начальник отдела.

Двенадцатое марта.

Сегодня двадцать третье апреля.

Протокол моего допроса, которого не было, составлен за шесть недель до того, как я вошёл в квартиру сорок семь.

Внизу стояла подпись. Моя.

Я смотрел на неё довольно долго. Хорошая подпись. Все три петли на месте, наклон мой, нажим мой. Я расписываюсь так восемь лет по сорок раз в день на бланках согласия, и любой, у кого есть сорок моих подписей, соберёт сорок первую.

* * *

Третья папка лежала под протоколом.
Тоже белая, тоже новая.
На обложке номер: **412**.
Мой лицензионный.
Внутри четыре листа.
Первый — копия моего заявления на лицензию, восьмилетней давности, с фотографией.
Я на ней моложе и смотрю в объектив, потому что тогда ещё смотрел.
Второй — медицинское заключение. «Годен. Эмоциональный фон в норме. Показатель эмпатии — 6 по десятибалльной. Рекомендован к работе с ограничениями по категории 3».
Шесть из десяти. Это много. Это выше среднего.
Третий лист — бланк, такой же типографский, как в папке Айны.
Субъект: муж., 28 лет.
Материал: память об утрате (сестра).
Объём: частичный.
Я держал фонарь и читал.
Отклонение от протокола: разрыв границы на 41-й секунде. Извлечено ориентировочно 50–55 %. Остаток стабилен.
И ниже, в графе «примечание»:
Отклонение выполнено согласно заявке. Спецификация 2-Н.
В графе «Присутствовал» стояла та же подпись, что на тридцати двух листах Айны.

* * *

Четвёртый лист был не бланк.
Одна страница, машинописная, без шапки.
Спецификация 2-Н (носитель).
Полное извлечение непригодно: субъект утрачивает связь с материалом и в течение 3–6 мес. прекращает работу по причине отсутствия мотивации.
Нулевое извлечение непригодно: субъект принимает чужой материал как свой и разрушается на 2–4-м контакте.
Оптимальный диапазон — 45–60 %. Субъект сохраняет способность к переносу, не удерживая. Средний срок эксплуатации — 9 лет.
Побочный эффект: остаток нестабилен во времени. Компенсация не требуется.
Ниже, от руки, другими чернилами, было дописано слово и число.
Контроль: 11.
Одиннадцать чего — процентов, месяцев, единиц веса — там не сказано. Просто «контроль» и цифра, приписанная позже, поверх типографской строки.
Я сфотографировал и перевернул лист.
Прочитал всё это трижды.
Потом сел на пол между стеллажами, потому что стоять стало неудобно.

* * *

Я вспомнил вводный курс. Третий день, после обеда, слайд с двумя цифрами: через пять лет живут одни восемьдесят два процента, через восемь — девяносто один.

Тогда мне казалось, что это про выгорание.

Это была не статистика. Это была характеристика изделия.

И ещё я вспомнил, как получал лицензию. Сорок человек в очереди, все моложе меня, все нервничают. Я не нервничал. Сидел и думал, что мне всё равно, возьмут или нет.

Я решил тогда, что это спокойствие.

Я сидел в той очереди уже с половиной.

Восемь лет я думал, что со мной случилась авария. Что была неделя, которую я не помню, что кто-то ошибся и рука дрогнула, и вот поэтому я такой.

Ошибки не было.

Ошибка — это когда хотели одно, а вышло другое. Здесь хотели ровно то, что вышло. Пятьдесят процентов — не брак, а норма. Средний срок эксплуатации девять лет; я на восьмом.

На полу было холодно. Я сидел и смотрел на строчку «компенсация не требуется» и думал про человека, который эту фразу напечатал, а потом пошёл обедать.

* * *

В конце коридора была дверь с табличкой.

Личная коллекция.

Карта её не открыла. Красный, короткий писк, и всё.

Я постоял и уже развернулся, когда за дверью что-то изменилось.

Не звук. Свет.

Под дверью была щель в палец, и в ней стало светлее. Не резко — как будто в комнате медленно поднимали яркость.

Я присел и посмотрел.

Комната была маленькая. Я видел только пол, ножку стола и нижний край витрины.

Свет шёл сверху, с высоты стола, и он был не белый. Тёплый, слабый, желтоватый, и он пульсировал — медленно, ровно, примерно раз в секунду.

Я знаю этот ритм. Я слушаю его каждый раз, когда прикладываю сканер к грудной клетке клиента.

Я поднялся и приложил ладонь к двери.

Свет стал ярче.

Я отступил на шаг.

Свет пошёл вниз.

Шаг вперёд — ярче. Назад — тише.

Я проделал это четыре раза, стоя один в пустом коридоре чужого хранилища, и на четвёртый мне стало ясно, что я стучусь.

И что мне открывают.

* * *

Я сел на пол у этой двери.
Не знаю, сколько просидел. Свет из щели держался ровно, пока я был рядом, и от него на линолеуме лежала жёлтая полоса шириной в палец.
Я положил ладонь на эту полосу.
Тёплая.
Не как нагретый пол. Теплее. Как чужая рука, которую подержали в своей.
Гул, который шёл по всему зданию, здесь стал тише. Не пропал — отступил, как отступают голоса в комнате, когда начинает говорить тот, кого ждали.
В государственном хранилище у окна четвёртого сектора гул начинается с трёх шагов и не меняется, сколько ни стой. Там за стеклом лежат тысячи, и им всё равно, кто пришёл.
Здесь их мало. Я видел край одной витрины и ножку стола.
И то, что лежало за дверью, отзывалось не на человека вообще.
Оно отзывалось на меня.
Я убрал руку и вытер ладонь о штанину, хотя вытирать было нечего.
Потом сказал вслух, в пустой коридор:
— Я не могу открыть.
Свет не изменился.
Он и не должен был. Я знаю, как это выглядит со стороны: тридцатилетний мужчина сидит на полу в чужом здании и разговаривает с дверью.
Я всё равно посидел ещё минуту.

* * *

Я ушёл в девятнадцать сорок.
Поставил папки на место, выключил фонарь, вышел, приложил карту с внутренней стороны. Дверь закрылась мягко, с щелчком, как закрываются хорошие двери.
На улице было светло. Апрель, длинный вечер, на газоне сидели два голубя.
Я дошёл до остановки и сел на скамейку.
В телефоне у меня лежали тридцать два бланка Айны, протокол моего допроса, датированный мартом, и спецификация на человека, которого из меня сделали.
Айна хотела, чтобы я нашёл первое.
Борис не знает, что я нашёл второе.
А третье не должно было существовать нигде, кроме этой комнаты, — и оно лежало сверху, на видном месте, в новой белой папке, будто его положили туда недавно и специально.

* * *

Автобус пришёл через двенадцать минут. Я не сел.
Я взял телефон и нашёл номер Айны.

Тридцать два её бланка лежали в этом же аппарате, четырьмя папками ниже, и в одиннадцатом было написано «оставить». Она про этот лист не знает. Она девятнадцать лет ходила и просила, и ей девятнадцать лет выписывали бланк и брали что-нибудь другое, и никто ни разу не сказал ей, что то, ради чего она приходит, вынуть невозможно.

Я держал палец над вызовом, наверное, полминуты.

Потом убрал телефон.

Не из жалости. Просто человеку, который узнал про себя такое сегодня, нельзя доверять решение, что делать с чужим таким же.

Восемь лет я приезжал по адресу, доставал инструмент и увозил чужое, и всё это время думал, что просто выбрал спокойную работу.

Я не выбирал работу. Меня под неё изготовили: сняли ровно половину, оставили остаток, записали, что компенсация не требуется.

И тысяча девятьсот девять извлечений, которыми я тихо гордился, — не мой результат. Это ресурс, выработанный в пределах допуска.

* * *

Мне нехорошо не оттого, что меня сделали.

А оттого, что я работал восемь лет. Хорошо работал. Лучше всех в городе.

Изделие не виновато в том, что его изготовили.

Но оно ходило на смену само, по будильнику, восемь лет подряд, и ни разу не опоздало. Оно вежливо разговаривало с клиентами, аккуратно защёлкивало кейс и получало благодарности в личное дело.

Спецификацию писали не на это.

Это я добавил от себя.

Глава 9. Озеро

Носитель обязан спать не менее семи часов.

Это единственный пункт регламента, который касается личного времени, и вписали его не из заботы. Недосып повышает проницаемость — так это называется в методичке, страница двадцать восемь. Уставший носитель хуже держит границу, и чужое, которое он весь день возит в контейнере, начинает искать, куда деться.

Раз в год мы сдаём отчёт о сне. Восемь лет я вписываю туда «семь-восемь» и ни разу не соврал.

Я хорошо сплю. Это, вообще говоря, единственное, что у меня выходит без усилий.

Сны мне не снятся.

* * *

Домой я вернулся в девять.

Дороги не помню. Помню, что автобус был полупустой и что напротив сидела женщина с ребёнком лет четырёх, и ребёнок стоял на сиденье коленями и всю дорогу смотрел назад, в заднее стекло. Мать один раз сказала ему сесть нормально. Он сел и через минуту встал снова.

Дома я не стал раздеваться.

Сел на пол у аквариума и открыл в телефоне галерею.

Тридцать два бланка. Протокол. Спецификация.

Я пролистал их до конца, потом обратно, потом снова до конца. На четвёртом круге поймал себя на том, что читаю уже не текст, а разглядываю края листов: как загнулся угол, как выпцвела печать, где на бумаге кольцо от кружки.

Так делают, когда хотят найти в документе ошибку. Опечатку, несовпадение даты, что угодно, из-за чего всё это можно объявить недействительным.

Ошибок не было. Документы были в порядке.

В двенадцать я лёг.

* * *

В час я встал и покормил рыб, хотя день был не кормовой.

Они не поняли. Первая взяла корм на середине падения, вторая ждала у дна, две мелкие подобрали. Порядок не изменился, просто сдвинулся на сутки, и от этого мне стало неприятно так, как не стало от спецификации.

Я стоял с пинцетом и думал: восемь лет через день, тысяча четыреста шестьдесят раз, и сегодня я сбил счёт.

Потом лёг опять.

В два наверху ходили. В половине третьего перестали.

В два сорок пришло сообщение.

Айна. Одна строка: «Ты был там сегодня. Не пиши в ответ».

Я не ответил.

Я лежал и перебирал, откуда она знает. Вариантов было три: она следит за зданием, ей сказал кто-то внутри или ей сказал сам Феликс. Третий был самый спокойный по форме и самый плохой по смыслу, и я почему-то остановился именно на нём.

В три я уснул.

* * *

Конец августа.

Вода стоит высоко. Она поднялась после дождей и подошла к мосткам вплотную, так что доски темнеют снизу и пахнут мокрым деревом. Ещё сантиметр — и польётся сверху.

Мне восемь.

Я стою на берегу, у начала мостков, там, где песок кончается и начинается глина. Глина холодная. Я стою на ней босиком, переминаюсь и смотрю, как между пальцами вылезает серое.

Сестре шесть.

Она на мостках. Ходит по ним от берега к концу и обратно и считает шаги вслух.

— Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре.

Она считает четвёрками, всегда. Досчитывает до четырёх и начинает сначала, и от этого получается, что она идёт под музыку, которой нет. До конца мостков четырнадцать её шагов. Она проверяла.

На ней синий купальник и белая панама с завязками под подбородком. Панаму она не снимает: мама сказала не снимать.

— Смотри, — говорит она.

Я смотрю.

Она доходит до конца, разворачивается ко мне и садится на корточки. Опускает руку в воду по локоть, шарит по дну.

— Тут дна нет.

— Есть.

— Нету. Я достаю и не достаю.

— Ты просто короткая.

Она смеётся.

— Иди сюда, — говорит она. — Тут интересно.

— Не пойду.

— Почему?

— Скользко.

Доски были скользкие, это правда. После дождей они темнеют и покрываются чем-то мягким, и на них не держится ни босая нога, ни сандалия. Я стоял на глине и не пошёл на мостки, и это я помню отдельно от всего остального, потому что потом меня об этом спрашивали и я отвечал одно и то же. У неё смеются в основном глаза, рот почти не двигается — она стесняется передних зубов, которых пока нет.

Потом она встаёт и делает шаг вбок.

Я вижу это очень хорошо. Вижу, как пятка уходит с края доски, как она пытается вернуть равновесие: правая рука идёт вверх и в сторону, панама съезжает на затылок, завязки натягиваются на горле.

Она падает не в воду. Она падает на воду — плашмя, боком, с плоским громким звуком.

И сразу уходит вниз.

* * *

Первые секунды ничего не происходит.

Вода закрывается над ней и делает то, что делает всегда: гасит круги и становится ровной. У берега плавают панамы, белая, вверх дном, как маленькая лодка.

Потом она выныривает.

Ей хватает дыхания на один звук. Не на слово — на звук.

Она кричит.

Я слышу этот крик до сих пор, и в нём нет ничего похожего на то, как кричат в кино. Он короткий и очень высокий, и обрывается на середине, потому что вместо воздуха она набирает воду. Она делает это дважды. Второй раз тише.

Между первым и вторым проходит секунды четыре.

Я стою на глине.

Я не двигаюсь.

Здесь надо объяснить, иначе будет непонятно. Я не окаменел, не растерялся, не «не успел». В голове у меня в тот момент была совершенно ясная мысль:

«Она умеет плавать».

Она умела. Мы ходили на озеро всё лето, и она плавала лучше меня — по-собачьи, но быстро и долго. Мама говорила: за неё не бойся, она как поплавок.

И я стоял и ждал, когда она поплывёт.

Я ждал четыре секунды. Потом ещё четыре. Потом стало тихо.

* * *

В тишине я делаю три вещи, и все три помню отдельно.

Первое: смотрю на берег. Слева, метрах в тридцати, лежат наши вещи — её сарафан, мои сандалии, полотенце в полоску. На полотенце сидит оса. Я вижу осу. Я запомнил осу.

Второе: поворачиваю голову направо, к дороге, где через кусты видно крышу автобусной остановки. Там никого. Я смотрю туда секунды две, и в эти две секунды думаю не о сестре.

Я думаю о том, что скажу.

Мне восемь лет, моя сестра под водой, а я стою на глине и подбираю слова.

Третье: делаю шаг вперёд.

Один. Правой ногой, с глины на первую доску. Доска мокрая и холодная.

И останавливаюсь.

Дальше в памяти нет ничего до момента, где я уже в воде.

* * *

Дальше идёт кусок, в котором я вижу больше, чем можно увидеть с берега.

Я вижу её лицо под водой. Глаза открыты. Волосы идут вверх и в стороны, одна прядь лежит поперёк лица, и она её не убирает, потому что рукой держится за другое.

Она держится за моё запястье.

Пальцы маленькие и очень сильные. Они смыкаются на левой руке, чуть выше косточки, и держат так, как держатся, а не так, как хватаются, — она не тянет меня вниз, она просто держит, потому что я единственное, что здесь есть твёрдого.

Я говорю ей: сейчас.

Она не отпускает.

Я говорю: я сейчас, подожди.

* * *

Я проснулся оттого, что сел.

Не медленно, как просыпаются, а рывком, из лёжа в сидя, и понял это уже сидя.

В комнате было темно и очень тихо. Аквариум гудел компрессором. За окном стояла синяя предутренняя ночь, на потолке лежала полоса от фонаря.

Я дышал, как дышат после лестницы.

Первое, что я сделал, — посмотрел на часы. Четыре двенадцать.

Второе — включил свет.

Третье я делать не собирался. Просто левая рука лежала на одеяле ладонью вверх, и я её увидел.

* * *

На запястье, чуть выше косточки, были следы.

Четыре с одной стороны, один с другой. Круглые, с горошину, светлее кожи по краю и темнее в середине.

Так выглядит место, которое сжимали и отпустили минуту назад.

Я смотрел на них секунд двадцать.

Потом взял себя за запястье правой рукой и попробовал совместить. Мои пальцы легли шире и не туда. Расстояние между следами было меньше, чем у меня между пальцами, примерно на треть.

Это была маленькая рука.

Детская. Я знаю размеры рук: восемь лет я читаю по ним людей и определяю возраст по ширине ладони точнее, чем по лицу. Эти следы оставила рука ребёнка лет шести, сомкнутая на моём запястье с той силой, с какой хватается тонущий, а не с той, с какой держатся. Четыре подушечки с одной стороны, большой палец с другой.

Я знал этот захват.

Я просто до этой ночи не знал, что знаю его с той стороны, где держат меня.

Я сфотографировал запястье. Дважды, при верхнем свете и при лампе, потому что при верхнем вышло темно.

Потом сходил в ванную и посмотрел при другом освещении. Следы были. Я подставил руку под холодную воду, потом под горячую, потом вытер полотенцем.

Потом сделал то, что делает любой человек нашей профессии, когда не понимает, что перед ним.

Достал сканер.

Он лежал в ящике с прошлого раза, я даже не убрал его вглубь. Включил, дождался готовности, поднёс к запястью.

Прибор показал то, что показывает на любом здоровом человеке: ровную линию и «материал не обнаружен».

Я перевёл его к правой ключице, к шраму.

Та же линия. То же «не обнаружено».

Это нормально. Личный сканер списанный, порог чувствительности у него выше рабочего вчетверо, он берёт только оформленный кристалл в контейнере или свежее вживание. Остаток внутри человека он не видит и видеть не должен.

Я всё равно постоял с ним у зеркала минуты две, водя по груди, как водят утюгом.

Ничего.

К пяти двадцати следы побледнели.

К шести их не было.

* * *

Я не спал до утра и в шесть тридцать сварил кофе.

Объяснение было спокойное и ровное: я лёг в куртке, рукав тугой, манжета с пуговицей, отлежал руку. Такое бывает у всех, к утру проходит.

Я держал кружку и повторял себе это, и это было правдой.

С правдой была одна проблема.

Куртку я снял в двенадцать, до того, как лечь.

Я открыл снимок. Оба вышли. На том, что при лампе, следы видно отчётливо: четыре и один, и тень от них ложится вправо.

* * *

За восемь лет я перевёз тысячу девятьсот девять кристаллов.

Я знаю, что внутри, лучше любого клиента: клиент носит своё, а я держал в руках всё подряд. Развод. Похороны. Ребёнок, который уехал. Мать, которая не узнаёт. Человек, который не позвонил вовремя, и человек, который позвонил, но сказал не то.

Всё это весит от трёх до пяти.

Девять весит одна-единственная вещь, и я назвал её вслух в первый же вечер, стоя над телом в квартире сорок семь: когда человек считает себя виноватым в чужой смерти и считает так долго, что вина срастается с костью.

Я знал этот вес наизусть.

Я узнавал его раньше, чем прибор договаривал цифру. Другие носители сверялись с экраном; я знал по тому, как груз ложится в контейнер, — глухие тяжелее не по массе, а по тому, как сопротивляются, когда их укладываешь. Восемь лет я списывал это на опыт. Мастер отличает девятку от пятёрки на ощупь, что тут удивительного.

Мне ни разу не пришлось в голову спросить, откуда я знаю его так хорошо.

* * *

В восемь пришёл заказ.

Один адрес, категория «утрата», предварительный вес четыре и три. Время — одиннадцать.

Я собрал кейс, проверил экстрактор, положил в отдельный карман запасные перчатки. Всё как всегда, руки делали это сами.

На выходе я остановился в прихожей и посмотрел на левое запястье. Кожа была чистая.

По адресу я приехал за восемь минут до срока. Женщина лет пятидесяти, кристалл на четыре и три, ровно по оценке. Категория «утрата», и я не спросил чего.

Пока я раскладывал бланк, она сказала:

— У вас руки красивые.

Мне это говорили раз пять за восемь лет. Обычно женщины, обычно от нервов.

— Спасибо.

— Нет, я не в том смысле. — Она смотрела на мои пальцы. — Спокойные. Я думала, у вас должны дрожать.

— Почему?

— Ну вы же это каждый день.

— Каждый день и есть причина.

Она подумала над этим и кивнула, и я понял, что она услышала не то, что я сказал, а что-то утешительное.

Люди почти всегда слышат утешительное. Это удобно: можно говорить правду и никого не расстраивать.

Я поднёс сканер, и она замолчала, как замолкают все.

Кристалл вышел чистый. Я закрыл контейнер, расписался, собрал кейс и вышел на лестницу.

Там, на площадке между этажами, у окна, я постоял минуту и посмотрел на свои руки.

Они были спокойные.

Вот это и есть спецификация. Не бумага в белой папке. Вот это.

* * *

Я не помню, как её звали.

Вот с чем я живу двадцать восемь лет и что заметил только сегодня утром, на кухне, с кружкой в руке.

Я помню глину между пальцами. Помню, что до конца мостков четырнадцать её шагов. Помню белую панаму вверх дном и то, как она стеснялась зубов. Помню, что она считала четверками.

Имени нет.

Не «забыл» — забытое имя вертится на языке, ты перебираешь буквы, ты знаешь, что оно короткое или длинное. Здесь нет ничего. Ровное место.

Я попробовал зайти сбоку.

Как звали маму — не помню. Как звали отца — не помню. Была ли собака — не знаю. Адрес дома, в котором мы жили до города, улица, номер школы, фамилия учительницы — ничего.

Я помню осу на полотенце в полоску.

Восемь лет назад мне сняли пятьдесят процентов, и я знаю, что именно забрали. Не боль. Боль на месте, она стоит у меня во рту прямо сейчас, как медь.

Забрали всё, к чему можно приделать имя.

А девятнадцатилетняя уборщица в служебном коридоре сказала: одно имя я разобрала, женское, короткое. Я попросил её вспомнить. Она отказалась.

Она была права.

Сейчас оно ничьё. Как только я услышу, оно станет моим.

* * *

Я вылил кофе, не допив, и стоял у окна, пока не рассвело до конца.

И вспомнил вчерашнего ребёнка в автобусе — того, который всю дорогу стоял коленями на сиденье и смотрел назад. Мать дважды сажала его нормально. Он садился и вставал опять, потому что ему было важно видеть то, что уже проехали.

Я тридцать шесть лет еду лицом вперёд.

Спецификация 2-Н, оптимальный диапазон сорок пять — шестьдесят процентов, средний срок эксплуатации девять лет, компенсация не требуется.

Всё это правда, и всё это теперь неважно.

Человек, которого изготовили, не просыпается с чужими пальцами на руке. У изделия нет прошлого, у изделия есть спецификация. Меня собрали пустым и восемь лет пользовались, и я не спорю.

Но сегодня ночью меня держали за запястье.

Значит, я там был.

Я поймал себя на том, что считаю.

Раз, два, три, четыре.

Пауза.

Заново.

* * *

Во мне есть место, куда не дотянулись ни экстрактором, ни бланком, ни подписью в графе.

Оно болит.

Больше у меня ничего нет. Восемь лет я возил чужую боль и ни разу не спросил, зачем её вообще вынимают. Теперь знаю: пока болит — было. Это единственная справка, которую мне никто не подделает.

Глава 10. Должник

Носителя нельзя уволить.

Можно отозвать лицензию — это другое. Лицензия отзывается на срок, с формулировкой, с правом обжалования. Через девяносто дней ты подаёшь на восстановление, проходишь комиссию и возвращаешься.

Уволить нельзя, потому что мы не в штате. Мы держатели лицензии, работающие по договору оказания услуг. У нас нет трудовой книжки, нет отпуска, нет выходного пособия.

Это подавали как свободу. На третий день курса, тем же голосом, каким читали статистику про восемьдесят два процента.

Свобода в том, что за нас никто не отвечает.

Работает это в обе стороны — ровно до того дня, когда за тебя решают ответить.

* * *

Уведомление пришло, когда я спускался по лестнице от женщины с четырьмя и тремя. Не заказ. Синяя рамка вместо серой: «Явиться в Бюро чистоты, каб. 4, сегодня, 15:00. Явка обязательна».

Кабинет четыре.

Тот самый, который стоял в шапке протокола номер сорок семь.

Я сдал контейнер, съездил домой, переоделся и приехал за двадцать минут до срока.

В приёмной сидела другая секретарь. Постарше, руки лежали спокойно, ногти короткие.

— А прежняя? — спросил я.

— Перевели, — сказала она, не поднимая головы. — В марте.

Плакат с отходящими углами висел на том же месте. За двадцать минут в кабинет никто не вошёл и оттуда никто не вышел.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.